

РУССКАЯ РЕЧЬ

Научно-популярный журнал

Института русского языка Академии наук СССР

Основан в 1967 году • Выходит 6 раз в год

Издательство «Наука» • Москва

№ 4 · 1970 · июль · август

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- В. В. Виноградов. И. А. Крылов и его значение в истории русской литературы и русского литературного языка 3
-

В ИСТОРИЧЕСКОМ ЖАНРЕ

- А. В. Алпатов. Стилизация речи 16
И. Н. Шмелева. Лексические анахронизмы 22
М. Н. Нестеров. Язык исторического документа в произведениях о Пушкине 24
В. С. Бушин. Недосужно 28
-

СЛОВО ПИСАТЕЛЮ

- В. Ф. Бокков. Герой нашего дела (заметки о словах) 32
Е. Н. Этерлей. Неутомимый собиратель 38
В. П. Бирюков. Панихида по «царе» 41
-

ХРОНИКА

- В. Я. Дерягин. На съезде писателей России 46
-

КУЛЬТУРА РЕЧИ

- «Говорит Москва...» 49
П. В. Веселов. Служебное письмо 53
Е. А. Иванникова. От лазутчика до разведчика 59
В. Н. Сергеев. Шофер, водитель: кто поведет машину будущего? 63
-

ГРАММАТИКА

К. В. Габучан. Инфинитивные предложения с отрицанием	66
--	----

ШКОЛА

Письма из школ	69
И. С. Улуканов. Об изменении значений слов	72

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ

Н. В. Попова. День	77
В. В. Веселитский. Человечество, человечный	79
Т. П. Гаврилова. Набат	84
Е. А. Левашов. Уфимец	86
А. А. Селимов. Кинжал	89

СТАРАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ

Л. А. Сенина. «Челом бью до лица земного»	92
---	----

ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Л. П. Жуковская. Графика, орфография и... палео-графия	97
--	----

ПОСТУПАЮЩЕМУ В ВУЗ

А. Б. Аникина. Синтаксический разбор	104
--	-----

ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Н. Ладыгин. Времена года (палиндромы)	110
Н. В. Чурмаева. Древние о мужестве	112
Филологический кроссворд	114

КОНСУЛЬТАЦИИ

Словарь эпитетов	116
----------------------------	-----

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»119

*На обложке: «И. А. Крылов в книжной лавке
А. Ф. Смирдина»
Гравюра Ю. И. Космынина*

*При перепечатке
ссылка на журнал «Русская речь»
обязательна*

И.А. КРЫЛОВ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

В начале 1969 года в связи с подготовкой к 200-летию со дня рождения великого русского баснописца академик Виктор Владимирович Виноградов написал работу: «И. А. Крылов и его значение в истории русской литературы и русского литературного языка» (101 страница машинописного текста). В феврале того же года, в крыловские юбилейные дни, он выступил в Пушкинском доме в Ленинграде и в Московском университете с докладами, в которых ознакомил филологическую общественность с основным содержанием своего труда. Однако этот труд остался неопубликованным. В. В. Виноградов продолжал работать над ним, о чем свидетельствует правка машинописного текста и вставки, сделанные рукой автора. Работа отражает одно из основных направлений научной деятельности крупнейшего советского филолога.

Мы печатаем две первые главы этого труда.

I

27 мая 1845 года ссыльный декабрист В. К. Кюхельбекер записал в своем Дневнике: «Сегодня ночью я видел во сне Крылова и Пушкина. Крылову я говорил, что он первый поэт России и никак этого не понимает. Потом я доказывал преважно ту же тему Пушкину. Грибоедова, самого Пушкина, себя я называл учениками Крылова; Пушкин тут несколько в насмешку назвал и Баратынского. Я на это не согласился; однако оставался при прежнем мнении. Теперь не во сне скажу, что мы, т. е. Грибоедов и я, и даже Пушкин, точно обязаны своим слогом Крылову, но слог только форма, роды же, в которых мы писали, все же гораздо выше басни, а это не безделица» (Дневник В. К. Кюхельбекера. Л., 1929, стр. 303—304).

В статье «Архаисты и Пушкин» Ю. Н. Тынянов, вспомнив эту кюхельбекеровскую запись Дневника, толковал ее так: «При высокой оценке Крылова (характерна в этом литературном сне позиция Пушкина, слегка насмешливо выставившего Баратынского

как достижение противоположной традиции) Кюхельбекер все же подчеркивает „низость рода“, в котором он писал. Он стоит на страже высокой поэзии, и теоретически и практически пытается воскресить оду» (сб. «Пушкин в мировой литературе». Л., 1926, стр. 273—274). Это толкование очень узко и однобоко. Ведь Крылов изображается Кюхельбекером как открыватель новых путей развития национального русского литературного языка и языка русской поэзии, как основоположник новой народной литературно-поэтической стилистики, инициатор ее созидания. Но многообразие жанров новой русской художественной литературы, естественно, не могло быть уложено в рамки одного басенного слога, даже крыловского. И все же в кругах декабристов Крылов выдвигался как великий русский народный поэт, предшественник Пушкина. А. А. Бестужев-Марлинский находил, что наиболее глубокое и полное художественное воплощение свое национально-литературный русский язык первоначально получает в языке и стиле басен Крылова: «Один только самобытный, неподражаемый Крылов обновлял повременно и ум и язык русский во всей их народности... Он первый показал нам их без пыли древности, без французской фольги, без немецкого венка из незабудок. Мужички его — природные русские мужички; зверьки его с неподкрашеною остью. Счастливы мы: Крылов и XIX век были нашими крестными отцами. Первый научил нас говорить по-русски, второй — мыслить по-европейски» (Второе Полное собрание сочинений А. А. Марлинского. Т. XI. Пб., 1847, стр. 196).

Пыль древности, французская фольга и немецкий венок из незабудок — символизировали поэзию Державина, Карамзина и Жуковского, не осмелившихся вступить на творческий путь Крылова.

Признание приоритета И. А. Крылова в поисках и находках новых национальных форм русского литературного выражения исходило из среды передовых писателей первой четверти XIX века, прежде всего будущих декабристов. Особенно остро и рьяно защищал новаторство Крылова А. А. Бестужев. В «Полярной звезде» за 1823 год в статье «Взгляд на старую и новую словесность в России» он начинает свой обзор развития русской литературы XIX века с И. Крылова: «И. Крылов возвел русскую басню в оригинально-классическое достоинство. Невозможно дать большего простодушия рассказу, большей народности языку, большей осязаемости нравоведению. В каждом его стихе виден русский здравый ум. Он похож природою описаний на Лафонтена, но имеет свой особый характер: его каждая басня — сатира, тем сильнее, что она коротка и рассказана с видом простодушия. Читая стихи его, не замечаешь даже, что они стопованы — и это-то есть великое искусство. Жаль, что Крылов подарил театр только тремя комедиями. По своему знанию языка и нравов русских, по неистощимой своей веселости и остроумию он мог бы дать ей черты народные» («Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Ры-

леевым. Издание подготовили В. А. Архипов, В. Г. Базанов и Я. Л. Левкович. «Литературные памятники». М.—Л., 1960, стр. 20).

В первой книге Крылова в 1809 году, вобравшей в себя басни из журналов с 1806 года, было напечатано всего 23 басни. В последнем, подготовленном автором незадолго до смерти издании 1843 года помещено 198 басен (в их состав не вошла по цензурным причинам басня «Пестрые овцы», а также не включены две басни «Пир» и «Лев и Человек»).

Два литературных течения в истории русской речевой культуры и словесно-художественного искусства в первые два с половиной десятилетия XIX века бурно и неуклонно сталкивались друг с другом: одно — за Крылова как вождя поэзии на пути народности (сюда с середины 20-х годов присоединился и Пушкин), другое — за Карамзина и Дмитриева, представителей и предводителей европеизированной литературы и «нового слога» российской словесности.

Поэт и критик А. Мерзляков еще в начале XIX века так определял основные этапы в развитии русской басни: «Мы очень богаты притчами. *Сумароков* нашел их среди простого, низкого народа; *Хемницер* привел их в город, *Дмитриев* отворил им двери в просвещенные, образованные общества, отличающиеся вкусом и языком» («Труды Общества любителей русской словесности при Московском университете». Ч. I. М., 1812, стр. 103).

В предисловии к шестому изданию «Стихотворений Ив. Ив. Дмитриева» в 2-х частях (СПб., 1823) — «Известие о жизни и стихотворениях Ивана Ивановича Дмитриева» П. А. Вяземский заявлял: «...никто из поэтов не действовал на общий вкус сильнее Ломоносова, Державина и Дмитриева» (Стихотворения. Ч. 1, стр. XXXI). Итак, Дмитриев становится рядом с такими гениальными деятелями прошлой русской литературы и ее поэтики, как Ломоносов и Державин. Естественно, что и в баснях Вяземский отдает первенство Дмитриеву: «Он в них превосходит, и ...красоты стихов его правильных, изящных и живых — суть красоты на языке нашем образцовые» (Стихотворения. Ч. 1, стр. XXXIII).

В. А. Жуковский в своей статье «О басне и баснях Крылова» («Вестник Европы», 1809, № 9) не без шпильки по адресу Крылова отпустил такое замечание: «„Два голубя“, басня, переведенная из Лафонтена, кажется нам почти (курсив автора.— В. В.) столько же совершенною, как и басня Дмитриева» (Полное собрание сочинений. Под редакцией А. С. Архангельского. Т. IX.— Пб., 1902, стр. 74).

В статье «Литературно-эстетические позиции „Полярной звезды“» новые издатели этих альманахов и их комментаторы — В. А. Архипов, В. Г. Базанов и Я. Л. Левкович (стр. 803—885) очень убедительно и расчлененно осветили литературную борьбу между А. А. Бестужевым — К. Рылеевым и группой карамзинистов, возглавляемой П. А. Вяземским. Декабристы боролись за

Крылова, за его революционную роль в развитии русского национально-литературного языка, «за сокровища русского слова», воплощенные в его поэзии, за всесторонние художественные преимущества стилистики басен Крылова над баснями Дмитриева. В письме от 9 марта 1824 года Вяземский писал А. А. Бестужеву: «Крылова уважаю и люблю как остроумного писателя, но в эстетическом, литературном отношении все же выше его поставляю Дмитриева» (там же, стр. 812).

В комментариях к «Полярной звезде» (стр. 814—815) восстанавливается такой диалог между П. А. Вяземским и А. А. Бестужевым — К. Ф. Рылевым:

Вяземский. «Но господин Крылов, с искренностью и правдушием возвышенного дарования без сомнения сознается, что если не взял он предместника [Дмитриева.— *Авторы*] за образец себе, то по крайней мере имел пример поучительный и путеводителя, угладившего ему стезю к успехам».

Бестужев. Крылов шел совсем по иной стезе. Он «возвел русскую басню в оригинально-классическое достоинство». А Дмитриев «украсился венком Лафонтена». И если можно говорить об оригинальности Дмитриева, то только как об «оригинальности переводчика с французского».

Вяземский. Крылов — «часто творец содержания прекраснейших из своих басен». Но «сие достоинство не так велико в отношении к предместнику его, который был изобретателем своего слога».

Бестужев. Крылов — творец национального содержания. «В каждом его стихе виден русский здравый ум».

В форме «диалога», посредством сопоставления реплик или вернее цитат из статей Вяземского и Бестужева вскрываются и раскрываются основные противоречия в оценке творчества Крылова и его роли в современном литературно-стилистическом движении между группой прогрессивных писателей и сторонниками старых литературных традиций.

Вяземский. «Строгая справедливость и обдуманная признательность называет двух основателей языка нашего» — Карамзина и Дмитриева. Они «как великие полководцы».

Бестужев. «Крылов научил нас говорить по-русски». «Невозможно дать большей народности языку». Карамзин и его подражатели, при всех их заслугах, «исфранцузили» русский язык, и он «теперь только начинает отрясать с себя гремушки чуждых ему наречий» — «германизмы», «галлицизмы».

Вяземский. «Язык французский... преимущественно может быть представителем общей образованности европейской... Мы

могли бы спросить, из которых языков прививки были бы выгоднее для русского языка, и свойственнее ли ему германизмы, англицизмы, италиянизмы, даже эллинизмы и латинизмы?».

Бестужев. Надо освобождаться от прививок вообще. «Обладая неразработанными сокровищами слова, мы, подобно первобытным американцам, меняем золото одного на блестящие заморские безделки». Надо разрабатывать сокровища русского слова. Что и делает Крылов.

Профессор Н. К. Кульман в работе «Князь Петр Андреевич Вяземский как критик» писал о сопоставлениях И. И. Дмитриева и И. А. Крылова в статьях Вяземского: «Ставя их на одну доску, он, однако, за Дмитриевым признает старшинство времени: Крылов без Дмитриева не был бы Крыловым, которому было уже легко идти по протоптанной дороге: он нашел выработанный язык, готовые формы, усовершенствованное стихосложение». И впоследствии, спустя более полувека, «Вяземский, в основном, не отказался от этого своего взгляда». «Дмитриев и Крылов,— писал он в 1876 году, — два живописца, два первостатейные мастера двух различных школ. Один берет живостью и яркостью красок: оне всем кидаются в глаза и радуют их игривостью своею, рельефностью, поразительною выпуклостью. Другой отличается более правильностью рисунка, очерков, линий. Дмитриев, как писатель, как стилист, более художник, чем Крылов, но уступает ему в живости речи. Дмитриев пишет басни свои; Крылов их рассказывает... Басни Дмитриева всегда басни... Басни Крылова нередко драматизированные эпиграммы на такой-то случай, на такое-то лицо... Не ставлю Дмитриева выше Крылова, но не ставлю и Крылова выше Дмитриева» (Полное собрание сочинений П. А. Вяземского. Т. I—XII. Пб., 1876—1896. Т. 1, стр. 157—158, 165. Ср.: Н. Кульман. Князь П. А. Вяземский как критик. — «Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук». 1904, т. IX, кн. 1, стр. 311).

Такой лакей-литератор и профессор начала XIX века, как А. Воейков, в «Новостях литературы» (1824, № 3), сравнивая Хемницера и Крылова с Дмитриевым, считает показательным, «достойным замечания» следующее обстоятельство: «Везде, где случалось им рассказывать одну и ту же басню с Дмитриевым, оба они всегда далеко ниже оставались». Здесь Дмитриев возвышался равномерно над Крыловым и Хемницером. Крылову пришлось много терпеть от несправедливых нападок.

На этом старомодном и претенциозном фоне очень резко звучали отрицательные и пренебрежительные отзывы П. Вяземского о Крылове. В «Старую записную книжку» им внесен такой афоризм, относящийся к развязно-просторечному стилю мелкого баснописца и сказочника А. Е. Измайлова, но грубо затрагивающий и Крылова: «Баснописец Измайлов — подгулявший Крылов» (Пол-

ное собрание сочинений П. А. Вяземского. Т. VIII, стр. 25). П. А. Вяземский сочувственно вспоминает и сатирические отзывы своих арзамасских друзей о Крылове. В той же «Старой записной книжке»: «Блудов сказал о новом собрании басен Крылова, что вышли новые басни Крылова, с свињскою и с вињетками. „Свињья на барский двор когда-то затесалась“ и пр. Строгий и несколько изысканный вкус Блудова не допускал появления Хавроньи в поэзии. Какой-то французский критик, в таком же направлении, осуждал Крылова за то, что он выбрал гребень предметом содержания одной из своих басен, вероятно на том основании, что есть французская поговорка: грязен как гребень (*sale comme un peigne*)» (там же, стр. 53).

Вместе с племянником И. И. Дмитриева М. А. Дмитриевым Вяземский считал, что басни И. И. Дмитриева «по чистоте и благородству слога и по языку поэзии остаются и доныне первыми». Вяземский в своих пуристических тяготениях близок к самому И. И. Дмитриеву, который писал В. А. Жуковскому (16 сентября 1836): «Что же такое народность, по мнению наших молодых учителей? Писать так, как говорят мужики на Сенной и в харчевнях» (Сочинения И. И. Дмитриева. Т. II. СПб., 1893, стр. 325). В своих мемуарах — «Взгляд на мою жизнь» (там же. Т. II, примечание VI к первой части) И. И. Дмитриев язвительно нападал на щегольство «языком простонародным или хватским, употребительным на биваках». В том же ряду для Дмитриева была и речь «лабазников».

Вяземский давал резкую отповедь всяким ироническим суждениям о языке И. И. Дмитриева: так, «Полевой написал в альбоме г-жи Карлгоф стихи под заглавием: „Поэтический анахронизм, или стихи в роде Василия Львовича Пушкина и Ивана Ивановича Дмитриева, писанные в XIX веке“». Сообщая об этом в «Старой записной книжке», Вяземский сопровождает эту запись таким комментарием: «И какие же это стихи в роде Дмитриева! Вот образчик:

Гостиная — альбом,
Паркет и зала с позолотой
Так пахнут свукой и зевотой.

Паркет *пахнет зевотой*. Что за галиматья! А какое отсутствие вкуса и приличия, литературное бесстыдство в глумлении подобными стихами над изящными и образцовыми стихами Дмитриева» (Полное собрание сочинений П. А. Вяземского. Т. VIII, стр. 190—191).

Таким образом, в первые десятилетия XIX века разгорается яростная, непримиримая борьба за пути развития национального русского литературного языка и стилей национальной художественной литературы. Различия стилей басни, прикрепленные к именам Крылова и Дмитриева, стали лозунгами этой борьбы.



Профессор А. Мерзляков, поэт, эстетик и специалист по стилистике и риторике той эпохи, считал, что только «И. И. Дмитриев отворил басням двери в просвещенное, образованное общество, отличающееся вкусом и языком» (А. Галахов. История русской словесности. Т. II. М., 1894, стр. 187). Но даже Булгарин определял стиль Крылова как «возвышенное простонародное наречие» («Литературные листки», 1824, № 2, стр. 62).

Противопоставление Дмитриева и Крылова полно глубокого исторического смысла. В стиле басен Крылова открывался глубокий источник русской национально-литературной художественной речи. В. К. Кюхельбекер в своем Дневнике (под 26 сентября 1839 года) писал: «Что сказать мне о Дмитриеве?.. Басни гораздо ниже крыловских и по содержанию и по слогу» (Дневник Кюхельбекера, стр. 263). Так же к этому сопоставлению относился и Пушкин: «И что такое Дмитриев? Все его басни не стоят одной хорошей басни Крылова».

Передовые деятели русского освободительного движения первых десятилетий XIX века всегда видели в Крылове великого народного поэта, гениального сатирика, друга простого народа.

А. И. Герцен в статье «О романе из народной жизни в России» писал: «До вступления на престол Николая I в литературной оппозиции было еще что-то недоговоренное, примирительное, смех был еще не совсем горьким. Мы находим это в удивительных баснях Крылова (оппозиционное значение которых не было никогда правильно оценено) и в знаменитой комедии Грибоедова „Горе от ума“» (А. И. Герцен. Полное собрание сочинений. Т. IX, стр. 95).

II

В выборе басни как основной формы литературно-художественной деятельности, сродной дарованию Крылова, сказалась гениальная его поэтическая прозорливость. Она была связана и с необыкновенными его лингвистическими способностями, и с его глубочайшим пониманием внутренней структуры и поэтики народного русского языка. Современники отмечали огромный, непрерывный труд, который вложил Крылов в изучение русской речи во всех ее стилях, разветвлениях и проявлениях.

Академик М. Лобанов, приятель Крылова, писал о занятиях его русским языком: «Язык его в баснях есть верный отголосок языка народного, но смягченный и очищенный опытным вкусом. Он изучал его сорок лет, вмешиваясь в толпы народные, в деревнях посещая вечеринки и посиделки, а в городах рынки и торговые дворы; прислушивался к разговорам народа, а иногда, чтобы вернее изучить быт и нравы его, не гнушался — так сам он рассказывал — заходить и в те места, некогда украшаемые елкою [то есть в кабаки.— В. В.], где в минуты разгула или бурно веселится или тихо изливается охмелевшая душа смышленного русского народа» (М. Лобанов. Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова. СПб., 1847, стр. 47—48).

Академик Я. К. Грот в своем очерке «Литературная жизнь Крылова» (1868) сообщил: «Какой-то тверской старожил в детстве учившийся вместе с нашим баснописцем, рассказывал, что Крылов уже в первой молодости любил толкаться посреди черного народа, на торговых площадях, около качелей и кулачных боев, жадно прислушиваясь к говору простолюдинов. Нередко, живя в Твери, сиживал он по целым часам на берегу Волги и потом передавал своим сослуживцам забавные анекдоты и поговорки, которые уловил в речах словоохотных прачек, сходявшихся на реку с разных концов города» («Труды Я. К. Грота». III. СПб., 1901, стр. 224).

Проблема разговорного языка простого народа и его значения, его роли в формировании языка русской национальной художественной литературы выступала перед Крыловым с неменьшей остротой и требовательностью, чем перед Пушкиным, особенно с 20-х годов XIX века. «Разговорный язык простого народа... — писал Пушкин, — достоин также глубочайших исследований. Альфиери изучал итальянский язык на флорентинском базаре: не худо нам иногда прислушиваться к московским просвириям. Они говорят удивительно чистым и правильным языком». Пушкинисты (например Н. О. Лернер) отмечают, что известие об Альфиери Пушкин, вероятно, нашел у *m-me de Staël (Corinne ou l'Italie, t. IX, ch. 1)* (Н. О. Лернер. Пушкинологические этюды. XVIII. Сб. «Звенья», № V. М.—Л., 1935, сноска к стр. 171). Речь города Москвы представлялась Пушкину наиболее типичной и показательной для понимания системы и норм народного русского языка. По позднему свидетельству друга Пушкина, профессора П. А. Плетнева, Пушкин будто бы утверждал, что «тот из русских, кто не родился в Москве, не может быть судьей ни по части хорошего выговора на русском языке, ни по части выбора истинно русских выражений. Вот почему Пушкин бесился, слыша, если кто про женщину скажет: „она тяжела“, или даже „беременная“, а не *брюхата* — слово самое точное и на чистом русском языке обыкновенно употребляемое. Пушкин тоже терпеть не мог, когда про доктора говорили: „он у нас пользует“; надобно просто *лечит*» (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Т. III. СПб., 1896, стр. 400). Сюда же относятся известия о том, что Пушкин вместо коренного, чисто русского выражения «она брюхата» считал «неприличным» говорить «она находится в интересном положении» (см. В. И. Шенрок. Материалы для биографии Гоголя. Т. I. М., 1892, стр. 362—363).

Однако эти показания современников нельзя толковать мелко и пуристически, особенно, если в этом случае вспоминается и о любви (по-видимому, иронической и потешной) Пушкина к словам *труперда* и *толпёга*. Оба эти слова означают толстую, здоровенную неуклюжую бабу. «Труперду Гоголь внес в свою лексикографическую коллекцию» (Сочинения Н. В. Гоголя. Изд. 10. М.—СПб., 1896, Т. VI, стр. 475).

У Тургенева в шуточной поэме «Поп» попадья называется трупёрдой: «Но поп не поп без попадья трупердой» (И. С. Тургенев. «Поп», шуточная поэма. С примечаниями и под редакцией Н. Л. Бродского. М., 1917, стр. 5).

Тот же Тургенев в 1864 году в письме к Н. В. Щербашю характеризует один рассказ Кохановской как «образчик славянотрупердой галиматши» («Русский вестник», 1890, август, стр. 16).

Сам же Пушкин, по рассказам А. О. Россета, так отзывался о княгине Наталье Степановне Голицыной, которая не приглашала его к себе, находя его не совсем приличным: «Ведь она только так прикидывается, в сущности она русская *труперда* и *толпёга*, но так как она все делает по-французски, то мы будем ее звать: *la princesse — tolperge*» (Из рассказов А. О. Россета про Пушкина. — «Русский архив», 1882, кн. 1, стр. 246).

Вокруг просторечных привычек Пушкина сложилось много бытовых и фольклорно-поэтических анекдотов, не лишенных исторического значения. Истинная же суть всех этих свидетельств, характеризующих интерес Пушкина к живой русской народно-разговорной речи, к демократическому просторечию, состоит в том, что он горячо любил русский народный «чистый и правильный язык», «гордый, первобытный», как он отзывался о нем в черновом письме Вяземскому (ноябрь 1823) и хотел, чтобы ему были предоставлены более широкие права в художественной литературе и в повседневном употреблении интеллигентских слоев общества.

Для того чтобы глубже понять, что отделяло Крылова и Пушкина в их стремлении к народно-демократической реформе национального русского литературного языка от широких слоев консервативно или пуристически настроенного дворянства, необходимо вникнуть в суждения Вяземского об отношении Пушкина к народно-разговорной русской речи.

Ссылаясь на критические отзывы И. И. Дмитриева о «новых писателях», которые учатся русскому языку у «лабазников», П. А. Вяземский замечает, что в этом отношении виноват немного и Пушкин. «Он советовал прислушиваться речи просвирной и старых няней. Конечно, от них можно позаимствовать некоторые народные обороты и выражения, выведенные из употребления в письменном языке к ущербу языка; но притом слушаешься и много безграмотности».

Характерны ограничительные меры и условия, выдвигаемые Вяземским: «Нужно иметь тонкое и разборчивое ухо Пушкина, чтобы удержать то, что следует, и пропустить мимо то, что не годится. Но не каждый одарен, как он, подобным слухом. Впрочем, он сам мало пользовался преподаваемым им советом. Он не любил щеголять, во что бы ни стало, простонародным наречием» (Взгляд на литературу нашу в десятилетие после смерти Пушкина. 1847. — Полное собрание сочинений П. А. Вяземского. Т. II, стр. 361).

И в другом месте П. А. Вяземский очень остроумно и дипломатически выражает свое критическое, в общем отрицательное, отношение к пушкинской позиции в оценке сокровищ народного слова, явно склоняясь на сторону карамзинистов типа И. И. Дмитриева. «Немного парадоксируя, Пушкин говаривал, что русскому языку следует учиться у просвирен и у лабазников [характерно включение в этот контекст дмитриевского слова *лабазники*. — *В. В.*], но, кажется, сам он мало прислушивался к ним и в речи своей редко простонародничал» (Старая записная книжка. — Полное собрание сочинений П. А. Вяземского. Т. VIII, стр. 478).

Между тем в одном из вариантов 8-й главы «Евгения Онегина», описывая светскую, хорошего тона, «истинно-дворянскую» гостиную, Пушкин говорит:

В гостиной светской и свободной
Был принят слог простонародный
И не пугал ничьих ушей
Живую странностью своей.

В черновике письма к Вяземскому от 4 ноября 1823 года Пушкин писал: «О Дмитриеве спорить с тобою не стану, хоть все его басни не стоят одной хорошей басни Крыловой, все его сатиры — одного из твоих посланий, а все прочее — первого стихотворения Жуковского». В письме к Вяземскому от 8 марта 1824 года Пушкин сокрушенно упрекает его: «...грех тебе унижать нашего Крылова».

В статье о предисловии г-на Лемонте к переводам басен Крылова на французский и итальянский языки Пушкин называет Крылова неподражаемым и истинно народным поэтом. Высказывая свой взгляд на развитие русского литературного языка и на соотношение и синтез различных стихий в его структуре, Пушкин приходит к следующему выводу, совпадающему с его характеристикой языка Крылова: «Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного, но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей».

Отвечая на разбор 4-й и 5-й глав «Евгения Онегина», Пушкин писал: «Частица *что* вместо грубого *как* употребляется в песнях и в простонародном нашем наречии, столь чистом, приятном. Крылов употребляет его». В этом замечании характерна ссылка на Крылова как на высший авторитет в области употребления русской народной речи.

В наброске «О французской словесности» Пушкин, отмечая подражательный характер русской литературы, пишет: «Некоторые пишут в русском роде, из них один Крылов, коего слог русский». Пушкин, по словам Тынянова, «ведет планомерную борьбу с Вяземским против Дмитриева за Крылова: „Но, милый, грех тебе унижать нашего Крылова... Ты по непростительному пристрастию судишь вопреки своей совести и покровительствуешь

черт знает кому. И что такое Дмитриев? Все его басни не стоят одной хорошей басни Крылова...» (Ю. Н. Тынянов. Архаисты и Пушкин.—Сб. «Пушкин в мировой литературе», стр. 249—250). Но при явном сочувствии к Крылову и его народному басенному стилю Пушкин в обществе Вяземского иногда дипломатически иронизировал и непростительно, непочтительно шутил над Крыловым.

Пушкин видел в Крылове «представителя духа русского народа». Литературный «предмет» у Крылова наглядно и ярко отражал и изображал вещи и явления живой русской действительности, не теряя художественного совершенства и широкой символической характеристики. П. А. Вяземский резко возражал против чрезмерно, как ему казалось, высокой пушкинской оценки басенного стиля Крылова: «... Назови Державина, Потемкина представителями русского народа, это дело другое; в них золото и грязь наши раг excellence. Но представительство Крылова и в самом литературном отношении есть ошибка, а в нравственном, государственном даже и преступление de lézenation, тобою совершенное» («Переписка Пушкина». Под редакцией В. И. Саитова. Т. I. СПб., 1906—1914, стр. 305). Очень дипломатичен и остр ответ Пушкина, оставшегося при своем мнении: «Ты уморительно критикуешь Крылова, молчи, то знаю я сама, да эта крыса мне кума» [из басни Крылова «Совет мышей»] (там же, стр. 301).

Однако тогда же В. Пляксин, считавший Пушкина после Крылова первым «народным поэтом в полном смысле этого выражения», писал: «Все их (Крылова и Пушкина) предшественники, классики и романтики, писали для немногих, для высших только сословий; самые баснописцы всегда употребляли язык книжный. И. А. Крылова — басни, а потом А. С. Пушкин поэмы начали писать так, что одно и то же произведение и вельможа и простолюдин читают с равным удовольствием. Пушкин... не старается, подобно В. А. Жуковскому, обогащать русский язык новыми оборотами, а разрабатывает богатый, неисчерпаемый рудник языка народного; он материальную часть нашего языка знает лучше всех других писателей; его можно назвать окончательным образователем внешней стороны нашей поэзии» («Сын отечества», 1831, ч. 142 и 143, № 24—28). В. Г. Белинский, противопоставляя басенное творчество Крылова дворянской литературе карамзинского периода, писал о крыловском периоде: «К этому периоду принадлежит Крылов, который мог бы быть представителем целого периода литературы. Он создал национальную русскую басню и тем *первый* внес в литературу русскую элемент народности» (Полное собрание сочинений. Т. I—XIII. М., 1953—1959. Т. VII, стр. 139—140). Пушкин называет Крылова «самым народным нашим поэтом» и «самым национальным».

По словам Белинского, баснописец Измайлов «находится к Крылову в таком же точно отношении, как *простонародность* к *народности*» (там же. Т. III, стр. 162).

Сопоставляя Крылова с Пушкиным, Белинский писал: «В поэзии Пушкина отразилась вся Русь, со всеми ее субстанциальными стихиями, все разнообразие, вся многосторонность ее национального духа. Крылов выразил — и надо сказать, выразил широко и полно — одну только сторону русского духа — его здравый, практический смысл, его опытную житейскую мудрость, его простодушную и злую иронию» (там же. Т. VIII, стр. 571).

Итак, до начала 30-х годов XIX века образ Крылова и его творчество вносят существенные изменения в почти установившуюся у нас картину развития языка русской художественной литературы. Концепция Ю. Н. Тынянова об архаистах и новаторах и о роли Пушкина в этой борьбе в силу своей узости и односторонности, а также в силу явных несоответствий реальным литературным фактам оказывается неоправданной. Ее значение очень невелико. Она на три четверти может быть сдана в архив. Борьба между направлениями и группами Крылова — Бестужева и частично Пушкина и Жуковского — Вяземского — Дмитриева гораздо ближе к внутренним основам процесса формирования русского национального стиха и языка русской художественной литературы. Правда, роль Пушкина в этих литературно-языковых взаимодействиях и противоречиях является двойственной, иногда даже двусмысленной. «Народность» стиля Крылова для него вне сомнения, но он не хочет порывать и с традициями Карамзина, Жуковского, Вяземского, Баратынского и др. Принцип синкретизма, признание жанровой широты литературного контекста и диалектики развития литературно-стилистических форм, побуждающий Пушкина выделять и осваивать разные элементы из поэтики и стилистики враждебных школ, — все это далеко выводит его деятельность за пределы творчества Крылова. В этом отношении в 30-е годы очень важны для оценки стиля Крылова точки зрения Гоголя и Белинского.

Академик В. В. ВИНОГРАДОВ

СТИЛИЗАЦИЯ РЕЧИ

Задача воссоздания исторического и местного колорита, примет изображаемой эпохи вставала перед историческим романом еще на ранних стадиях его существования. Ее решали обычно путем введения определенных реалий — характерных черт бытового уклада, особенностей одежды, оружия, утвари, убранства жилищ и т. п. Вместе с тем писатель не мог пройти и мимо такой стороны культуры, как язык. Язык в историческом романе, определенная окраска его «под старину» помогают создавать ощущение дистанции времени, отделяющей нас от изображаемой эпохи. Автор исторического произведения, в особенности автор-реалист, почти неизбежно стремится в какой-то степени отразить особенности речевого строя эпохи не только в высказываниях героев, в диалогах, но и в общем стиле изложения.

Стилизация как одна из форм оживления прошлого имеет у разных писателей неоднородный характер. Прежде всего она может быть то более интенсивной, сгущенной, то сравнительно умеренной и сдержанной. Мы встречаем ее и у Пушкина в «Арапе Петра Великого», и в «Гарасе Бульбе» Гоголя, и в романе Л. Толстого «Война и мир», где она появляется, правда, изредка (например в письмах Жюли Карагиной к княжне Марье, воспроизводящих эпистолярный стиль начала XIX века).

Густой струей архаизации отмечена повествовательная манера писателя первой половины XIX века А. Вельтмана в его «Кашее бессмертном». Текст этой «были ста-

рого времени» отяжелен устарелой предметной терминологией, множественным вышедших из употребления славянизмов, заимствованных из старинных сказаний и летописей, а частью и придуманных, «воссозданных» по древним образцам самим автором. Вот, например, одно из описаний убранства княжеского терема:

«Ива Олелькович в первый раз видит такое богатство; но он не дивится, не *чудится* ничему. С правой стороны светлицы видит он через отворенные двери *стольную* палату, лаженую *червеницею*, на *выши* стоит стол, резанный из кости, выложенный золотом с хитрыми узорами, да с многоцветною птицею, сеяною *сардионом*, *аспидом*, *измрудом*, *топпазом* и всякими иными честными *камьками*, да с багряничным *навесом*».

Подчеркнутая архаичность стиля А. Вельтмана — плод его особого пристрастия к экзотике древнего языка, но, возможно, именно поэтому исторические произведения его, несущие отпечаток искусственности, кабинетной выдумки, оказывались в итоге мало популярными.

Отношение Пушкина к передаче языкового колорита прошлого было иным. Он считал, что образ мыслей того или иного времени, особенная физиономия эпохи, самый язык прошедших веков могут быть воссозданы без резкого отрыва от живого языка. Нет необходимости прибегать к «сплошной» архаизации. «Дух века» или исторической среды можно воссоздать с помощью немногих, но *типических* языковых примет изображаемой эпохи, которые связаны с ее бытом и духовной культурой и которые могут служить опорными точками в исторической стилизации.

«Арап Петра Великого» Пушкина отмечен легким, почти неуловимым налетом исторической стилизации. Повествование кажется развивающимся в обычном для Пушкина ровном, слегка суховатом, как бы конспективном стиле. Архаизирующих витиеватых оборотов, тяжелых славянизмов почти нет в изложении. Лишь более пристальный взгляд может различить кое-где языковую окраску изображаемой эпохи, ко-

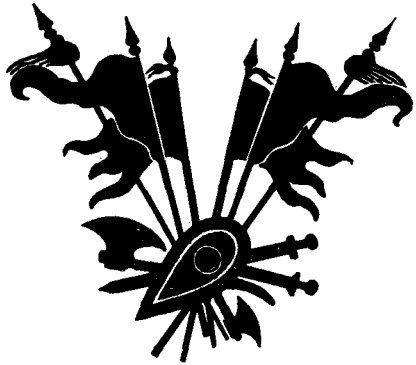
торая сказывается то в построении отдельных фраз, реплик персонажей, то в появляющихся типичных для начала XVIII века варваризмах. Припомним, как выразительно дает Пушкин маленькое происшествие на ассамблее, и те суровые слова, с которыми распорядитель танцев обращается к растерявшемуся и сконфуженному Корсакову, приказывая ему выпить штрафной кубок:

«Государь мой, ты провинился, во-первых, подошед к сей молодой персоне, не отдав ей три должные реверанса; а во-вторых, взяв на себя самому ее выбрать, тогда как в медуэтах право сие подобает даме, а не кавалеру; сего ради имеешь ты быть весьма наказан, именно должен выпить кубок Большого Орла».

Слова эти не вызывают никакого затруднения для понимания. В них сохранена даже некоторая живая интонация речи этого важного господина с букетом. Но отдельные типичные черты языка эпохи здесь налицо: форма официального обращения «государь мой»; специфичная для тех лет новая лексика — «реверанс», «кавалер», «дама», «персона»; архаические, идущие от старинной книжности формы «подошед», «сего ради»; наконец, напоминающий язык судебных постановлений оборот «имеешь ты быть весьма наказан».

Пушкинская установка на легкую и умеренную стилизацию стала одним из истоков той плодотворной традиции, которая затем получила свое продолжение в позднейшей нашей литературе. Нужно добавить, что Пушкин довольно свободно вводил в стиль своей исторической прозы элементы народной лексики, формы современного ему просторечия, что сообщало некоторый отпечаток патриархальной простоты его историческому рассказу.

Уже ранние опыты стилизации в нашей исторической прозе показали всю сложность и многосторонность этой творческой задачи. Тут обозначились некоторые обязательные условия и выявился ряд особых трудностей. Повествование о прошлом, конечно, не могло оставаться совсем исторически обесцвеченным, но нельзя было его превращать и в натуралистически воссозданный, аб-



солютно точно имитированный летописный стиль. Ведь в основе стиля каждого писателя все-таки лежит современная ему система литературного языка. Что касается самой меры приближения к языку подлинной старины, то хоть и в общей форме, но очень метко сказал в свое время А. Бестужев-Марлинский: «Пусть старина говорит языком ей приличным, но не мертвым. Так же смешно вложить неологизмы в ее уста, как и прежнее наречие, потому что первых не поняли бы тогда, второго не поймут теперь».

Интересно, что здесь высказано и важно соображение о недопустимости явных «неологизмов в устах старины», о необходимости историческому романисту избежать в стилизованном тексте «перебивающей» лексики, тех ультрасовременных выражений и оборотов, которые могли бы нарушить впечатление старины и слишком резко выделялись бы на общем языковом фоне. Поучительные примеры дает нам работа Гоголя по улучшению, выравниванию стилизованного текста в «Тарасе Бульбе». Гоголь тщательно устранил, вычеркивал некоторые «выпадающие» обороты и слова первой редакции повести. В частности, из описания нравов украинского казачества XVI века он исключил выражение «флегматичный», примененное в характеристике запорожцев. Оно показалось Гоголю явно неуместным в данном контексте именно из-за своего чересчур современного звучания.

Архаизация может затрагивать то одну, то другую сторону речи. Иног-

да архаизация выявляется в привлечении устарелой лексики, иногда в использовании словообразовательных элементов; то путем обильявания некоторых смысловых оттенков, семантических смещений, то путем отражения архаизированных форм синтаксиса или целых фразеологических сочетаний. Что из этого предпочтительнее привлекает писателя, что у него преобладает — далеко не безразлично. Из языка прошлого автор может использовать самое древнее, почти омертвевшее, или, наоборот, менее устаревшее, более понятное современному читателю, но все же создающее некоторое ощущение старины.

Многое, конечно, зависит от того, какая именно эпоха — седая ли русская старина, XVIII ли век, начало ли XIX века служит объектом изображения, потому что в отношении каждого из этих периодов имеется уже в литературе известная традиция чаще всего употребляемых стиливых приемов и языковых средств. Небезынтересно, что при разработке тем прошлого стиль, архаизированный под XVIII век, куда добавлены еще формы позднейшего канцелярского языка, иногда несет в себе особую юмористическую функцию. От него создается впечатление чего-то комично-старомодного, забавно-устарелого, что несомненно входит в расчет автора. Таковы некоторые рассказы-анекдоты Козьмы Прутковы или И. Горбунова. Вот что мы читаем у первого из них:

«Уподобляясь, под вечер жизни моей, оному древним римлянам Цыццинатусу, в гнетомые старостью года свои утешаюсь я, в деревенской тихости, кроткими наслаждениями и изобретенными удовольствиями; и достохвально в воспоминаниях упражняюсь, тебе, сыншкне моему, Петрушке... жизненного прохождения моего описание... после гроба моего оставить положил».

В произведениях ряда наших второстепенных исторических романистов — Д. Мордовцева, Е. Салиаса, Вс. Соловьева и др. — наиболее узким местом оказывалась обычно невыдержанность стиливого тканя, досадные выпадения из культурно-бытового стиля изображаемой эпохи. В романе «Царь Петр и правитель-

ница Софья» Д. Мордовцева, в изложении, обильно уснащенном такими архаизмами, как «рамена», «свещи», «скифетро царское», «облокс», «в полон взят», неожиданно является такое сравнение: «Большой царевич двигался как *автомат*». Это воспринимается как анахронизм. Дальше опять после целого ряда густо архаизированных оборотов автор называет молодую царшу Евдокию Федоровну, жену Петра, «соломенной вдовой» (!?), что создает явную неувязку с окружающим текстом.

Даже автор известного «Князя Серебряного» А. К. Толстой, который с такой красочностью и обилием декоративных подробностей живописал время Ивана Грозного, тем не менее в области языка и стиля был не безупречен, обнаруживая некоторую недостаточность языкового чутья. Неоправданно резкие стиливые переходы дают себя чувствовать в его изложении; часто слишком близко соседствуют у него друг с другом отражения традиционных форм повествования начала XIX века и, с другой стороны, совсем не гармонирующие с этим элементом фольклорной образности, условно народного сказа.

Нельзя здесь пройти мимо одной полосы в нашей литературе, на которую падает очень обострившийся интерес к стилизациям в исторической прозе. В начале XX века у некоторых писателей, близких к символизму или акмеизму, заметно обозначилось тяготение к художественной разработке исторических тем, а также самой формы исторического повествования. Д. Мережковский в серии исторических романов, В. Брюсов в «Огненном ангеле», С. Ауслендер, М. Кузмин в стилизованных новеллах из жизни XVII — XVIII веков отдавали немалую дань этому увлечению стариной. На почве декадентских настроений прошлое стало восприниматься некоторыми как убежище от неуютной и тревожащей современности. Не без влияния художников «Мира искусств», их программных установок складывался и в литературе некий реставраторский подход к художественному воссозданию ушедших веков. Минувшее старались представить в эстетизированном

облике, приподнимая его над однообразием будней сегодняшнего. Писатели эти не лишены были и исторической эрудированности, и умелого владения литературной формой, и чувства языка. Их стилизации носили искусный и даже, можно сказать, изощренный характер. Но постоянная ориентация на книжные источники, литературные памятники и архивные документы, какой-то почти музейный подход к воскрешаемой ими старине придавали их произведениям отпечаток искусственности.

В советской исторической прозе на первых порах заметна еще инерция старого. В частности, у некоторых писателей, даже в крупных исторических произведениях, которые в идейном плане уже несли в себе много нового, проявлялись подчас черты реставраторского отношения к старине, натурализм в описке быта эпохи и языке.

А. Чапыгин в своем «Разине Степане» впадал в излишнюю архаизацию языка, которая сказывалась особенно в речах действующих лиц. Усложнял он свое повествование также обилием обстановочных деталей, перечислением множества старинных предметов, вещей домашнего обихода, одежды, украшений, даваемых в обозначениях XVII века. Книга Г. Шторма «Повесть о Болотникове», вышедшая в те же примерно годы, также отличалась чрезвычайно затрудненной и искусственной манерой письма автора. Вот образчик стилизованного, усиленного многочисленными архаизмами описания в ней:

«В Архангельском соборе отслужили молебен. Царь и бояре — в *зерцалах*, железных *мисюрках* с вишнями до плеч сетками и в булатных *наручах* — потекли к воротам. Светло-вишневая *зубь* шуб мешалась с дымчатой *объярью* зипунов...».

Чтение такого текста просто даже затрудняет читателя.

Против злоупотребления устаревшей исторической лексикой протестовал в свое время А. М. Горький. Он вообще считал, что «излишняя детализация и орнаментика ведут к затемнению фактов и образов».

В разработке стиля, языка нашего

нового исторического романа, развивающегося уже в русле социалистического реализма, большую роль сыграл А. Н. Толстой романом «Петр I».

В нем писатель удивительно удачно нашел самый тип языкового оформления исторического повествования. А. Толстому удалось избежать мертвого стилизаторства при передаче языкового колорита эпохи. Он не отяжелял своего изложения множеством устарелых, малопонятных читателю словечек и выражений, не злоупотреблял архаизированным синтаксисом. Как и в описке самого быта XVII—XVIII веков, А. Толстой и здесь оказался далек от погони за какой-либо экзотикой прошлого. Писатель дает в языке романа лишь легкую окраску «под старину».

Для передачи патриархальной простоты, образной наглядности старинной русской речи XVII—XVIII веков А. Толстой прибегал в «Петре I» к использованию богатых речевых средств народного языка, просторечия; притом он совсем не стремился «выкапывать» какие-либо языковые редкости из словарей или памятников древней письменности. Он привлекал в первую очередь наиболее живое, жизнеустойчивое, прочное в языке, сохраняющееся в обращении длительно. Храпя в себе аромат старины, эти элементы не умерли, они бытуют и до сих пор в языке народа. Сама установка толстовского повествования на выразительную произносимость, на живую интонацию, на так называемый внутренний жест — немало способствовала такому удачному его языковому оформлению.

Выражений, связанных с далеким прошлым, обветшалых словечек, требующих особого объяснения у А. Толстого в общем очень мало. Мы имеем в виду употребление таких, например, слов, как: колонтары, ендова, ефимки, гилевщики, тегилля, — или выражений: поставить на правез; поворачивается посолонь. А. Толстой предпочитал привлекать в таких случаях слова более живым корнем, значение которых легче улавливается сознанием читателя: поручная запись; полонянка; зерцало; ратники; чрево.

Кое-где для создания колорита старины он использовал необычные для современного языка словообразовательные элементы (вместо *готовились* он пишет *приуготовлялись*). Иногда писателю создает необходимую ему окраску стиля употреблением современных слов и выражений, но в ином, характерном для XVII—XVIII веков значении, например слово *прелесть* — ‘соблазн, обман, прельщение’; *воровские речи* — ‘бунтовщические речи’. Очень умеренно отражает он в своем стиле устаревшие синтаксические формы, фразовые конструкции, падежные формы, выбирая при этом самые характерные случаи: поскакал о дву конь; шатался меж двор; адмирал Головин с бояры; на Москве бунт поднялся.

А. Толстой не мог не отразить в языковой ткани романа того, что составляло довольно характерный процесс в культуре петровского времени, — усиленное проникновение в язык, в литературную речь заимствованных с Запада слов, технических выражений и военных терминов, вроде: конфузия, бомбардир, экзерциция, кумпанство, виктория, апробация. Писателем уловлено было и излишество в употреблении варваризмов, которое сказалось в речевом стиле верхушечных слоев петровского общества, впадших в крайности при увлечении «европейским политесом» в быту. Не без иронии воспроизводит А. Толстой в речах некоторых персонажей типичное смешение иностранного с отечественным, переплетение «французского с нижегородским», которое особенно комично выступает, например, в «светской» беседе Саньки Бровкиной во время приема в доме гостей: «Презанте мово младшего брата Артамошу», или в колоритной сцене утренней перебранки боярина Буйносова со своими дочерьми:

«— Чего-то кофей не хочу сегодня. Прохватило на крыльце, что ли... Мать, поднеси крепкого.

— У вас, фатер, один разговор каждое утро — водки, — сказала Антонида, — когда вы только приучитесь...».

Разнообразны в романе элементы живого просторечия, слова и выражения недавней патриархальной

провинции, которые также служат для создания исторического колорита. Обычно они лишь в определенном контексте, в соседстве с полными историческими словечками начинают отсвечивать красками далекой старины. Просторечные обороты и выражения, ядреные народные словечки в стиле романа «Петр I» играют немаловажную роль. И они-то в значительной степени и определяют тот общий тон безыскусственной простоты изложения, народности сказа, который так подходит для такого рода исторического произведения.

В репликах многих героев и в авторской речи могут быть обнаружены примеры этих осколков живой речи простого народа:

«В руках его все войско, и никто в его волю *встревать* не должен»; «Стольники спали *почитай что круглые сутки*»; «На царских *харчал* раздробел Волков»; «*Опосля* только удалось увести Овдокима»; «Петр *пхнул* его в грудь»; «Покуда кровь горяча, — гуляй, *казны хватит*»; «Не пойдешь туда, *невместно*»; «Алексашка у черкви помногу *выжалывал* денег»; «Моя воля, *огневаюсь* — за пастуха отдам» и т. п.

Таким образом, в общем решении проблемы стилизации, в своем подходе к использованию архаизмов, обветшалых форм А. Толстой исходил из правильного представления о народном языке, как меняющемся медленно и неторопливо. Опираясь на общ историческую основу, на языковой запас слов, являющийся наиболее постоянным, прочным, А. Толстой осуществлял легкую, умеренную и осторожную стилизацию. С этим всем, возможно, связано и то в стиле «Петра I», что в отличие от некоторых других исторических романов в нем удачно сохранено единство, цельность художественно-языковой ткани, которая не воспринимается читающим как какая-то беспорядочная чересполовица.

Интерес А. Толстого к русскому фольклору, глубокое знание им памятников народного творчества оставили заметный след в художественной ткани «Петра I». В романе множество фольклорных образов и черт. То мелькает пословица, по-

говорка, острая народная шутка; то почувствуется отзвук народной песни или сказки; есть целые описания старинных обрядов. Поскольку А. Толстой стараясь полное показать народ, дать народную жизнь в ее широком разливе, постольку он, естественно, обращался к фольклору, в котором ярко запечатлелся духовный склад, богатый внутренний мир русского человека. Фольклорные образы в повествовании А. Толстого не выпирают искусственно вперед; они органически входят в основную художественную ткань, образуют с ней неразрывное целое.

Чтобы лучше понять необычность, оригинальность оформления исторического повествования в «Петре I», стоит обратить внимание еще на характер построения в нем авторской речи. В нее вкраплены нередко то крылатое народное словечко, шутка, то отзвуки разноголосого говора народной массы, толпы. Введением в авторскую речь живых разговорных интонаций, специфических «сказовых» оборотов, как будто отзвуков чьих-то реплик, использованием форм несобственно-прямой речи — всем этим А. Толстой воссоздает целый сложный «оркестр голосов». Так, очень своеобразно дается развернутая характеристика исторической обстановки после подавления первого стрелецкого мятежа (кн. I, гл. II). Она построена на переплетении нескольких резонерствующих голосов, неодинаковых по своей социальной окраске:

Приев и выпив кремлевские запахи, стрельцы разошлись по слободам, посадские — по посадкам. И все пошло по-старому. Ничего не случилось. Над Москвой, над городами, над сотнями уездов, раскинутых по необъятной земле, кисли столетние сумерки — нищета, холопство, бездолье...

Истоцалась земля: *урожай сам три — слава тебе, господи*. Крихтели даже бояре и именитые купцы. Боярину в деловские времена много ли было нужно? Шуба на соболях да шапка горлатная — *вог и честь*. А дома хлебал те же щи с солонинной, спал да молился богу. Ныне глаза стали голоднее: захотелось жить не хуже польских панов или лифляндцев... *наслышались, повидали мно-*

гое... А где деньги? Туго, весьма туго...

Торговлишка плохая. Своему много не продашь, свой — гол... Все торги с заграницей прибрали к рукам иноземцы. А послушаешь, как торгуют в иных землях, — голову бы разбил с досады. *Что за Россия, заклятая страна, — когда же ты с места сдвинешься?..*

Старики рассказывали, — *хорошо было в старину*: дешевле, сытнее, благообразнее. По деревням мужики с бабами водили хороходы. На посадах народ заплывал жиром от лени. О разбоях не слыхивали. *Эх, были, да прошли времена!..*

Общий тон этого отрывка — мотив «нищеты, застоя, холопства и бездолья». Тут слышатся и жалобы, идущие как бы из самых недр крестьянской массы, жалобы на «постылую землю», которая если даст урожай сам три, и то слава богу. Тут и недовольство боярина тем, что у него нет денег: «Захотелось жить не хуже польских панов... А где деньги? Туго, весьма туго». Тут и сования какого-нибудь посадского кушца на то, что «торговлишка плохая. Все торги с заграницей прибрали к рукам иноземцы». И чье-то восклицание, свидетельствующее о жажде перемен и новшеств: «Что за Россия, заклятая страна, — когда же ты с места сдвинешься?». И, наконец, характерные вздохи о далеком прошлом стариков, вспоминающих о «добром старом времени».

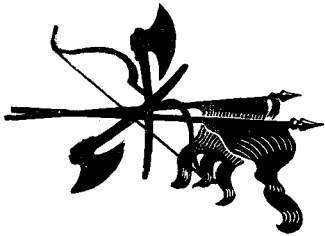
Это место романа — обобщающая характеристика обстановки безвременья, застоя, идущая, казалось бы, от самого автора-повествователя, включает в себя вместе с тем отражение живых человеческих голосов эпохи, давая ощущение широкого потока социальной жизни.

Имея в виду живость, неомертвельность архаизирующей струи в стиле «Петра I», надо отметить, что А. Толстого увлекли в эти годы далеко не всякие исторические источники и документальные материалы. Для работы над романом и его стилем он подчеркивал особую ценность старинных судебных актов XVII и начала XVIII века, материалов «Слова и дела» (записей допросов в Преображенском приказе, опу-

бликованных в 1911 году профессором Н. Новомбергским). Материалы подлинных следственных документов помогли писателю передать некоторые особенности народного быта, а также дали возможность уловить живые голоса прошлого. По словам самого А. Толстого, в этих пыточных актах «рассказывала, стояла, лгала, вопила от боли и страха народная Русь».

Новаторство, достигнутое А. Толстым в выработке форм исторической стилизации, создавало плодотворную традицию для последующего развития нашей исторической прозы.

А. В. АЛПАТОВ



ЛЕКСИЧЕСКИЕ АНАХРОНИЗМЫ

Лексический анахронизм — это слово или значение слова относительно позднего происхождения, употребленное в художественном произведении о прошлом, когда данного слова или значения еще не было в языке. Вопрос о лексических анахронизмах был затронут в статьях о языке кино, опубликованных в «Русской речи» за 1969 год (№ 2, 5): допустимо ли, чтобы герои фильмов с исторической тематикой говорили языком наших дней, употребляли любые современные слова? Речь шла не только о подлинно исторических фильмах, но и о фильмах, в которых разворачиваются события вообще не наших, пусть даже и не особенно далеких от нас дней.

Между языком кино и языком художественной литературы нет и

не может быть тождества, по частная тема модернизации языка там и здесь решается примерно одинаково. Писателю также очень важно установить, до каких пределов он вправе осовременивать лексику исторического произведения и существуют ли эти пределы вообще.

Всякое историческое (в широком смысле) произведение писатель создаст на языке своей эпохи, используя его грамматический строй, его словарный запас. Иначе и быть не может, ибо только так поймут его современники и только этим языком владеет в полной мере он сам. Но писатель стремится, чаще сознательно, а иногда и интуитивно, пользоваться по возможности теми языковыми средствами и особенно теми словами, которые издавна существуют в языке и являются общими для прошлого и настоящего. Благодаря этому не нарушается колорит эпохи, не возникает стилистического перебора. На фоне исторически нейтрального языка и происходит стилизация — вкрапление языковых особенностей описываемого времени.

Ни один писатель, однако, не может избежать слов или отдельных значений слов, которые появились недавно, может быть, только в его время. Но далеко не все новые слова воспринимаются современниками как новые. Многие из них не имеют никакой стилистической окраски, ничем не примечательны, широко известны. Должен ли писатель так же, как и создатель исторического сценария, проявлять осторожность в употреблении слов этой категории? Ясно и, на мой взгляд, правильно высказался по этому поводу Л. Н. Нехорошев на страницах «Русской речи» (1969, № 5): «Новые слова должны существовать в речи персонажей в определенной пропорции наряду со словами „старыми“, придающими картине характер произведения исторического... Эти „новые“ слова не должны блистать своей новизной, иначе говоря, они не должны ощущаться зрителями как новые, рожденные сегодняшним днем». Точку зрения Нехорошева разделяет И. В.

Лукинский в споре с Л. И. Скворцовым по поводу глагола *суметь*. Действительно, новый глагол *суметь* как раз относится к разряду слов без «временной характеристики», употребление которых не создает стилистического диссонанса в историческом произведении.

Только к середине XIX века у существительного *любовник* сформировалось его современное значение, и лишь тогда слово стало знаком предосудительных, безразличных отношений. До той поры слово выступало в таких значениях — ‘любимец, друг, приверженец’: «Хто же бо тако дьяволу любовник, яко же пядница» (Паисиевский сборник. XV в.); ‘избранник, любимец’: «И ты, любовник бранной славя, для писма кинувший венец» (Пушкин. Полтава); ‘возлюбленный’, во множественном числе — ‘влюбленная пара’: «Кто видал, как в первый раз целомудренные любовники обнимаются... пусть тот и вообразит себе сию картину» (Карамзин. Наталья, боярская дочь). Но вот А. Н. Толстой, который не мог не знать всего этого, в романе «Петр Первый» пишет: «Ее [Софью] мучила нужда скрывать любовь к Василию Васильевичу. Хотя об этом знали все до черной девки-судомойки, и за последнее время вместо грешного и стыдного названия — любовник — нашлось иноземное приличное слово — галант,— все же отравно, нехорошо было, без закона, не вешчанной, не крученной, отдавать возлюбленному свое уже немолодое тело». Прав ли писатель, обыгрывая значение слова, которого не было в XVII веке? Доказательство его правоты — художественная выразительность приведенного отрывка. Именно слово *любовник* в значении ‘незаконный сожитель’ обладает той экспрессией, которую должен воспринять современный читатель романа. Это значение никто уже не считает новым, и ничто не помешало употребить его в романе о Петре.

В том же романе гости Анны Моисеичны, галантные европейцы, играют в карты. Черные карточные масти они называют трэфами и пиками. Эти названия употребительны в

России со второй половины XVIII века, а до тех пор соответствующие масти назывались жлуди и внии. А. Н. Толстой, по всей вероятности, вполне сознательно, допустил явный лексический анахронизм — употребил слова, которых не было совсем в XVII веке. И снова писатель прав. Внии и жлуди оказались непригодными из-за их стилистической окраски в языке наших дней. Для современного читателя слово *внии* — примета просторечия или даже малокультурной речи, а слово *жлуди* просто устарело, вышло из употребления. А. Н. Толстому же важно было подчеркнуть утонченность своих игроков, а главное — их полную оторванность от русской действительности. Они не могли изъясняться русским просторечием. Может быть, за игрой они вообще говорили не по-русски. Поэтому *пик* и *трефы*, нейтральные слова современного языка, в их устах оказались уместнее, чем ставшие ныне просторечными *внии* и устаревшие *жлуди*.

Прилагательное *бесперебойный*, по данным словарей и литературных источников, стало употребляться в литературном языке только в советскую эпоху, с 30-х годов, но, подобно глаголу *суметь*, его никто не считает новым. Такое слово также не нарушит языковой достоверности исторического повествования. Исключение должны составить только слова стилистически вполне нейтральные, но обозначающие новые явления или предметы. Нельзя, например, описывая 20-е годы, одевать своих героев в лавсан, не изобретенный еще в то время. Но эта сторона вопроса не лингвистическая.

Иначе воспринимаются в историческом произведении слова и употребление слов, отчетливо связанные в сознании современников с языком наших дней, не утратившие ореола новизны.

В своей «Повести о Верещагине» К. Кошпачев вводит новые слова, построенные по грамматическим моделям современного разговорного языка: грубшика, упрямка, поднадоесть и под. Новизна этих слов видна «невооруженным глазом», их своеоб-

разная экспрессия ясна каждому. Не мог, например, писатель Гаршин говорить так, как заставил его говорить Коничев: «Да и люди там с упрямкой, но общительные».

В романе А. Первенцева «Гамаюн — птица вещая» описывается Москва 20-х годов. Один из персонажей романа уверяет: «в жизни самое главное — дружба, а остальное „муть“». Существительное *муть* с экспрессивным значением 'нечто, не стоящее внимания, ерунда' вошло в широкое употребление в послевоенные годы, это характерное словечко современной жаргонизированной речи. Может быть, где-то и кто-то употреблял его так и раньше, но об этом ничего неизвестно, и все воспринимают такую «муть» как слово, типичное для разговорной речи наших дней. Для изображения действительности 20-х годов оно непригодно.

Вывод из сказанного может быть, видимо, только один: осовременивание языка исторического произведения — вещь неизбежная и необходимая. Стилистический перебой, как правило, создают только слова с яркой печатью современности, в первую очередь — слова и словечки экспрессивные и жаргонные. Преимущественно из-за них возникает впечатление языковой фальши, языкового безвкусыя. Иного отношения, конечно, требует нарочитая модернизация языка, к которой прибегают, и обычно очень успешно, для создания комического или сатирического эффекта.

И. Н. ШМЕЛЕВА



ЯЗЫК ИСТОРИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ О ПУШКИНЕ

О Пушкине и его эпохе существует множество самых разнообразных исторических документов. Записки, письма, воспоминания, официальные бумаги, написанные самим поэтом и его современниками, представляют собой исключительно богатый материал для советских исторических романистов. Материал этот может быть успешно использован не только в качестве общей документальной основы художественных произведений о великом поэте и его времени, но и как источник достоверных деталей изображения. Ведь каждый дошедший до нас письменный документ прошлого и удостоверяет исторический факт, и в то же время представляет его в характерном для того времени речевом облике. Поэтому он может служить важным средством создания языкового колорита эпохи, средством точной и выразительной речевой характеристики персонажей.

К сожалению, многие авторы романов и повестей о пушкинской эпохе часто еще недооценивают выразительных возможностей языка исторического документа: письменные свидетельства самого поэта и его современников служат у них нередко лишь документальной канвой для развития сюжета, отвлеченным материалом, на основе которого создаются вымышленные сцены, детали, вымышленный язык. Если документ иногда и включается в текст, то непременно в форме цитаты, берется в кавычки как явление, чуждое художественному тексту. Этим, можно сказать, «извечным» путем, широко проторенным еще в дореволюционной исторической беллетристике,

шли, например, при создании своих романов и повестей о Пушкине И. Новиков (Пушкин в изгнании), В. Воеводин (Повесть о Пушкине), А. Еремин (После восстания) и др.

Вполне понятно, что при таком упрощенном использовании исторических свидетельств подлинная речь прошлого не находит доступа на страницы романа. Поэтому уже с первых лет зарождения советского исторического жанра многие писатели искали новых путей художественного использования в нем письменных документов прошлого. Очень удачные методы и приемы художественной обработки исторического документа нашел еще в 20—30-е годы Ю. Н. Тынянов.

Глубокий знаток художественной литературы, публицистики, мемуаров и переписки конца XVIII — начала XIX века, Тынянов широко использует их в своих романах о Кюхельбекере, Грибоедове и в особенности о Пушкине. В романе «Пушкин» трудно найти такой эпизод или даже просто небольшой отрывок, который не был бы тесно связан с документом. Письменные свидетельства современников эпохи у Тынянова не лишаются языкового своеобразия. Вместе с тем они не обособляются от авторского повествования и речи героев, не берутся в кавычки, за исключением тех немногих случаев, когда документ сам по себе делается объектом изображения. Исторический документ с характерными для него речевыми формами органически входит в художественную ткань произведения. Он точно вплетается в авторское повествование, в прямую или несобственно-прямую речь героев, становясь стилистической основой текста.

Вот небольшой эпизод — речь Карамзина на обеде у Пушкиных, устроенном Сергеем Львовичем в честь рождения Сашки:

«И он сказал о том, чем он жил и на что надеялся все дни, — о поездке в Карлсбад и Пирмонт. Он был болен, а больному не воспрещается выехать для летения. Климат московский становился для него тягостен. Но он не сказал ни о Пирмонте, ни о Карлсбаде.

— Боже, — сказал он, — представляю себе счастливый климат Хили,

Перу, острова святой Елены, Бурбона, Филиппинских, эти вечно цветущие, вечно плодоносные деревья и готов здесь, в Москве, задохнуться от жары».

Как прямая, так и несобственно-прямая речь Карамзина в данном случае представляет собой художественно обработанную контаминацию двух его писем к Дмитриеву. В письме от 30 декабря 1798 года, как раз накануне рождения Пушкина, Карамзин писал:

«...Живо представляю себе счастливый климат Хили, Перу, островов св. Елены, Бурбона, Филиппинских и веселюсь мыслю, что там будет покоиться прах мой под сенью вечно цветущих, вечно плодоносных дерев».

И в письме от 19 мая 1799 года:

«Если буду здоровее, то нынешним летом стану писать прозою... В противном случае надо думать о теплых водах. Не вздумаешь ли и ты съездить со мною на несколько месяцев в Карлсбад или в Пирмонт? Я надеюсь, что больным дают паспорта».

Естественно, что для речевой характеристики исторических деятелей Тынянов использует из их писем, записок, статей и других работ, как правило, лишь наиболее для них характерное. Так, при изображении директора лицея В. Ф. Малиновского писатель часто вводит в его речь общественно-публицистическую лексику и фразеологию, встречающуюся в его статьях, в «Рассуждении о мире и войне» и т. п. Но особенно широко при изображении Малиновского представлены слова, выражения и целые обороты речи из его дневниковых записок, в частности из «Размышления о преобразовании государственного устройства России», из записки «О созвании депутатов» и других. В этих документах наиболее непосредственно отразились как политические взгляды героя, его интеллектуальные черты, так и особенности его речи, его индивидуальная речевая манера, не скованная условностями печати и цензуры.

Приведем отрывок, характеризующий переживания Малиновского, связанные с падением Сперанского и приближением войны 1812 годч:

«Однажды старец мирно заснул у своего друга, прикорнув в громадном английском кресле. Тогда Малиновский, слушавший его со вниманием, тихо встал, бесшумно достал из шкафа бутылку, налил немного вина, точно отмерил и, косясь на спящего старца, быстро вздохнув, выпил до дна, опрокинув стакан одним движением. Старец ничего не слышал, не проснулся».

«Вдруг директор испугался своего падения. Он посмотрел на спящего старца, не знаящего о слабости его, с раскаянием. Вся его прошлая безупречная жизнь и будущий подвиг были отменены одною подписью на полицейском приказе, сгубившей Сперанского. Все осталось как прежде. Русский человек без достоинства. Царь, возбудивший такие надежды вначале, не желал расставаться со старою властью царей русских: сылать в Сибирь и сечь, рубить и вешать равно и правого и виноватого,— продолжалась великая обида россиянам: народ от пьянства погибал. Вот однажды напившись, возьмется народ и разрушит насильственные узы рабства! Все, как прежде, и к старым обидам прибавляются новые. Помина нет о том, чтобы созывать депутатов,— и он воспитывал детей тщетно.

Война приближалась, неистовая. Восемь лет назад он написал проект вечного мира.

Самборский проснулся.

— Бонапарт оседлал неукротимого коня,— сказал ему медленно Малиновский, смотря на него воспаленными глазами.— Восплачут сыны России, разлучаемы с матерями и женами,— сотни тысяч рекрут! Не забуди звания убогих твоих!

И он рухнул на колени, вслеснул руками и заплакал. Все английское вдруг в нем исчезло.

Прямая и несобственно-прямая речь Малиновского представляет собой довольно тонкое сочетание, искусную художественную обработку отрывков из его дневника:

«Спросить кроткого монарха, пожалует ли он расстаться с сею властью русских царей рубить и вешать, сечь и засылать в Сибирь без разбору правого с виновным по единой досаде или лукавым наветам;

Народ в низкой степени подавлен

суеверием, невежеством, рабством, лишает себя последних сил распространяющимся пьянством... Напившись когда, возьмется народ и разрушит насильственные узы рабства;

Как веред из нечистой крови собирается в одно место, разращение Европы открылось во Франции... Бонапарт, как второй Александр, оседлал неукротимого коня...;

От славного Бонапарта восплачут сыны России, разлучаемы с отцами, матерями, женами и детьми,— семьдесят тысяч рекрут. Не забуди звания убогих твоих».

Выбор тех или других речевых форм, используемых для характеристики героев, тех или других письменных источников всякий раз определяется задачами художественного изображения. При описании Карамзина на обеде у Пушкиных, то есть в узком кругу почитателей его литературного таланта, Тютчев в первую очередь использует его неофициальную переписку, письма к близким ему людям. Характеризуя Карамзина в более поздний период, Тютчев обращается уже к совершенно иным письменным источникам, которые представляют героя не столько как частное лицо и литератора, сколько как будущего государственного историографа, человека, влиятельного и в обществе и при дворе.

Изображая разговор Карамзина с Сергеем Львовичем Пушкиным о реформах Сперанского, Тютчев использует выдержку из его «Записки о древней и новой России», цитированную в свое время многими общественными деятелями.

Естественно, что метод анкрустации, включения языка исторического документа в художественный текст, в прямую и несобственно-прямую речь героев требует от писателя особой художественной тонкости, тщательного учета стилистических особенностей документа и речи описываемой среды. Ведь язык письменных документов начала XIX века, в том числе письменный язык самого Пушкина, не всегда соответствует нормам живой разговорной речи того времени. Это отличие письменной речи от разговорной в пушкинскую эпоху очень важно учитывать при создании речевой характеристики

ки персонажей. Если писатель забывает об этом различии, то он чисто механически переносит книжные элементы в живую, разговорную речь героев.

В романе В. Гроссмана «Арион» в разговорную речь персонажей нередко почти без всякой художественной обработки включаются отрывки из записок Пушкина и других исторических деятелей прошлого, что, разумеется, приводит к стилистически не оправданному усложнению ее книжными элементами. Вот развернутая реплика Пушкина из его диалога с Пестелем:

«Говорили по-французски. Пестель обратил внимание Пушкина на это. Поэт ответил:— Что делать? *Ученость, политика и философия по-русски еще не изъяснялись. Метафизического языка у нас вовсе не существует. Проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты слов для изъяснения понятий самых обыкновенных, так что леность наша выражается охотнее на чужом языке, коего механические формы давно готовы и всем известны.*»

В разговорную речь Пушкина в этом диалоге без всякой обработки включен целый отрывок из его статьи (выделено курсивом). В результате речь Пушкина отягощена книжными элементами (коего механические формы), усложненным синтаксисом и т. п.

В результате механического переноса книжных элементов в разговорную речь язык некоторых персонажей в романе В. Гроссмана настолько книжно-архаичен, что он утрачивает почти всякую связь с портами устной речи. Это касается даже действующих лиц, вовсе не связанных с книжной культурой.

В речь старухи Давыдовой введен записанный Пушкиным анекдот о Потемкине. Пушкинская запись не воспроизводит подлинных речевых форм рассказчицы, а лишь сжато передает содержание анекдота. В стилистическом отношении она характеризует письменный язык самого Пушкина. В. Гроссман целиком включает эту пушкинскую запись в разговорную речь Давыдовой, принося тем самым в нее чуждые ей

стилистические элементы (причастные и деепричастные обороты, книжный порядок слов и т. п.):

«Пушкин слушал и чувствовал, что отыскал клад. О Потемкине старуха могла рассказывать без конца.

— На Потемкина часто находила хандра. Он по целым суткам сидел один, никого к себе не пуская, в совершенном бездействии. Однажды, когда он был в таком состоянии, накопилось множество бумаг, требовавших немедленного его разрешения. Но никто не смел войти к нему с докладом. Молодой чиновник, по имени Петушков, подслушав толки, вывзвался представить нужные бумаги для подписи. Ему поручили их с охотою и с нетерпением ожидали, что из этого будет. Петушков с бумагами вошел прямо в кабинет. Потемкин сидел в халате, босой, нечесаный и грыз ногти в задумчивости. Петушков смело объяснил ему, в чем дело, и положил перед ним бумаги. Потемкин молча взял перо и подписал их одну за другой. Петушков поклонился и вышел с торжествующим лицом: «Подписал!». Все к нему кинулись, глядят: все бумаги в самом деле подписаны. Петушкова поздравляют: «Молодец! Нечего сказать!». Но кто-то всматривается в подписи и что же? На всех бумагах вместо «князь Потемкин» подписано: «Петушков, Петушков, Петушков».

Старушка была словоохотлива, и Пушкин, ликуя, выслушивал сказания недавней старины, увлекательной для поэта и поучительной для историка».

Речь старухи Давыдовой в результате дословного использования пушкинской записки оказывается совершенно лишенной подлинных социально-стилевых красок, которые свидетельствовали бы о принадлежности героини к среде патриархально-поместного дворянства.

Тынянов неизменно добивается соответствия между характером письменного документа и стилем речи персонажа. Наименьшей переработке исторический документ подвергается тогда, когда он включен в речь героев, тесно связанных с книжной культурой своего времени. Здесь нередко сохраняется не только лексика и фразеология, но и син-

таксис. Этот прием придает книжно-архаический оттенок речи Малиновского, Куницына, Сперанского, Кошанского. Их язык заметно отличается и от опрошенной речи патриархального и мелкопоместного дворянства, простонародья, и от офранцуженного жаргона светских салонов. Так Тынянов достигает социально-стилевого многообразия при воспроизведении языка пушкинской эпохи.

Принципы и приемы использования исторического документа в художественных произведениях о Пушкине и его времени могут быть, конечно, весьма разнообразными. Но наиболее эффективными представляются те из них, которые открывают широкий доступ на страницы исторического жанра подлинным речевым формам описываемой эпохи и вместе с тем глубоко учитывают специфику художественного произведения, его эстетическое назначение.

М. Н. НЕСТЕРОВ



НЕДОСУЖНО ...

Поэт Булат Окуджава написал роман из времен декабристов. Эта повесть, распространившаяся еще до опубликования книги, вызвала интерес и отчасти представлялась неожиданностью. Действительно, Б. Окуджава был до сих пор известен как автор, выступающий хотя и в самых разнообразных жанрах поэзии, прозы, драмы и мелоса, но тематически он всегда при этом оставался в пределах хорошо обозримой современности. И вдруг —

декабристы! Вдруг — люди, события, быт, язык полуторавековой давности. Легко ли совершить такой скачок! Будет ли он удачным?.. Тут было над чем подумать.

Настораживало и то обстоятельство, что в прежних сочинениях этого автора, даже, на мой взгляд, самых лучших, встречались факты, свидетельствующие о его довольно нередком небрежении, нечуткости к языку, к точности образа, к достоверности жизненной детали. Так, одна его очень душевная, человеческая и потому весьма популярная песня начинается словами:

Полночный троллейбус по улице
мчи,
Верша по бульварам кружение...

«верша кружение» — это сказано очень неуклюже, в сущности, не по-русски.

В другой столь же популярной песне, в строках, описывающих как началась война, говорится: «однажды на рассвете мессершмиты, как вороны, разорвали тишину». Молодежь, с понятным упоением распевая эту песенку, слава богу, не слышала звук мессершмита, но мы помним, что был он, проклятый, довольно плавным, даже мягким, на карканье вороны никак не похожим. Уж если о ком можно сказать «разорвали тишину», то не о мессершмитах — истребителях! — а прежде всего, конечно, о бомбардировщиках, главным образом о тяжелых трехмоторных юнкерах, нанесших нам первый удар.

Примеров подобной неаккуратности в слове и в факте можно было бы привести из прежних произведений Б. Окуджавы немало. А ведь в новом сочинении, как нигде ранее, были необходимы высокое чутье языка, знание бытовых реалий, вкус.

Увы, с первых же страниц наши опасения начали сбываться.

Трудно поверить, что автор работал над романом четыре года, как мы узнали из предисловия. Впечатление такое, словно он ни разу и не прочитал свое создание, а сразу от машинистки — в редакцию, редактор же, не читая, — в набор. Иначе, как можно было не заметить

хотя бы того, что действие чиновников, занимавшихся делом декабристов, именуется в романе то следствием, то судом, а сами они — то судьями, то членами следственной комиссии, то членами высочайшего комитета, то даже высочайшими членами комитета тайного, хотя определение «высочайший» в то время могло быть приложено лишь к царю, и хотя какой же «тайный», если на его заседаниях мы видим даже адъютантов и фельдъегерей.

Как можно было не исправить фразу о Пестеле: «Друзья от него отвернулись, жены добром не помянут», из коей с непреложностью следует доселе неизвестный факт его многоженства. Как могло не броситься в глаза, что «правитель всех дел» Боровков, персонаж, играющий в романе не последнюю роль, в одной сцене — Александр, в другой — Алексей, в третьей — опять Александр...

Как можно было пройти мимо удручающего однообразия и банальных штампов в средствах характеристики психологического состояния героев, что видно, так сказать, невооруженным глазом: от страха у Авросимова «похолодел затылок», от удивления и возмущения он тоже чувствует «холод в затылке», затылком же он «ощутил, что в комнате появились люди...».

Другой персонаж рассказывает: «Чувствую затылком, что лопоухий продолжает следовать за мной...». И дальше в том же роде: «Едва заметное тревожное нытье в темечке»; «в темечке заныло по-прежнему»; «Авросимов ощутил в затылке холодок»; «Обернувшись, он никого не различил, но в темечке продолжало свербить»; «Дверь захлопнулась, но скрежет еще долго холодила затылок».

Романист знает, что у его героев не только затылок да темя, есть и другие части тела, но он словно и не подозревает о возможности чего-либо иного, кроме нытья или холода: «Позвольте,— сказал я, ощущая холод в ладонях»; «Он весь напрягся... чувствуя холод под коленками» и т. д.

Как можно было поэту, музыканту не услышать грубого неблагозвучия многих фраз и выражений: «он

бы и до дыбы додумался»; словесных и звуковых аналогий, повторов, совпадений: «Бес? — рассердился граф.— А небось...»; «...как бог на душу положил.— Матушка,— проговорил он горячо и вполголоса, положила голову на подушку»; «семенели люди, отбросив вечерние страхи и сомнения»; «вихрь пламени и дыма обрушился на племя людей»; «исправник, отправляйте»; «выезды привозят»; «опустившись на стул, застыл»; «преступники разоблачали себя сами, покарвав тем самым себя самое» (?).

Роман «Бедный Авросимов» построен довольно сложно. Это рассказ человека зрелых лет, живущего в 60-е или даже 70-е годы прошлого столетия, обращенный к современнику и сверстнику, о людях и событиях 1825 года, с которыми он, рассказчик, каким-то необъясненным образом был очень хорошо знаком. Тут открывались разные пути решения проблемы языка. Б. Окуджава смело избрал путь стилизации. Это чрезвычайно трудный путь, требующий острого чувства слова, досконального знания языка, безупречного вкуса.

Но вот сразу же бросается в глаза то изобилие, с коим наш автор уснастил текст романа — и речь героя-повествователя и язык персонажей — словами *сие* и *натурально*. Они встречаются раз двести, не меньше, роман ими буквально испещрен: «воспоминание сие возбудило в нем гнев, однако ...внешнее сие состояние выразилось едва заметно...»; «он увидел сию усмешку»; «у вздорного сего негодяя!»; «не буду утруждать... сними подробностями»; «Павел Иванович был, должно быть, счастлив, что не знал (?) о буре, поднятой им в душе нашего героя, и о метаниях сего последнего. Когда бы он знал о сем»; «сие собрание идей»; «он сего знать не мог»; «вдруг услышали сие слово»; «сии поступки есть преступление»; «сидеть в сем каземате»; «Павла же Иванова, в сем грехе упрекнуть было невозможно»; «сильным мира сего оно нравится»; «Павел Иванович, натурально, оцепенел от такой несправедливости»; «натурально, полка не будет».

И все это только на трех соседних страницах!

Разумеется, само по себе употребление старомодно-книжных и редких речений, простонародных слов, идиом, пословиц, поговорок есть одно из общедрипчатых, вполне естественных и действенных способов стилизации, и тяга Б. Окуджавы к этому лексико-фразеологическому слою вполне понятна. На страницах романа то и дело встречается: простоволосяя, оскоромиться, имеет быть, чиниться и т. п. Но слишком часто, к сожалению, мы видим, что автор гонится за подобным словечком, не забывая о точности его употребления, а то и обнаруживая непонимание его стилистической окраски и даже смысла.

«Вожделенная свобода», «вожделенный флигель», «вожделенная Настенька»... Едва ли к этим столь разным понятиям стилистически одинаково подходит одно и то же определение. Что же касается фразы «вожделенный огонь злорадства не сверкал в их глазах», то она вообще более чем загадочна: почему, для кого, кем огонь злорадства «в их глазах» — вожделенный?

Романист пишет, что декабристы намерены были «известить» царя, что Павла I в свое время тоже «известили». Но ведь *известить* значит медленно, постепенно сжечь со света («Извела меня кручина...»). Павел же был убит, задушен ночью в постели; об убийстве, а не об изводе царя помышляли и декабристы.

Прельстясь народным выражением «казать глаза», но не зная его смысла (приходить, посещать, являться), автор повергает читателя в изумление, сообщая, что писарь, ведущий протокол допроса декабристов в следственной комиссии, «не должен был глаз казать» в этой комиссии.

Естественно желание в произведении, повествующем о столь давних временах, употребить слова: бог, вера, церковь, схимник и т. п. Но что мы видим у Окуджавы? «Лошадей ему не дали... и он вынужден был добираться до дома как бог на душу положил». За все время широкого бытования этой бесспорно старинной поговорки она ед-

ва ли употреблялась кем-нибудь таким образом.

«Не услел прозвенеть колокол в церкви», — пишет автор, делая сразу две ошибки: колокол не звенит, а звонит, и находится он вовсе не в церкви.

Не часто нынче употребляется пришедшее к нам из польского слово *вензель*, но тогда-то оно, конечно, было в широком ходу, поэтому прав романист в своем желании вставить его в текст. Делает он это так: писарь «вывел аккуратно странное имя [Пестеля] и даже не позабыл снабдить прописную букву приличествующими вензелями». Видно, автору не известны хрестоматийные строки о Татьяне, которая «пальчиком писала на отуманенном стекле заветный вензель О да Е». Видно, он думает, что вензель — это завитушки, что ли.

Все эти свидетельства удивительной неосведомленности весьма огорчают, конечно, но, пожалуй, еще более печалит то, что одно из основных средств стилизации Б. Окуджавы, как это ни странно, видит в нарушении грамматических норм. Он полагает, что достаточно по своему произволу деформировать слово, исказить оборот речи, и они уже будут выглядеть «под XIX век». Этим объясняется редкостная перенаселенность романа лексическими и фразеологическими уродцами.

Надо бы, например, сказать: «писать донесения», «они сидели за обедом», «она плачет о брате», «вершить правосудие» и т. д., но автор находит, что все это звучит слишком современно, что в прошлом веке сказали бы совсем иначе и потому пишет: «они восседали перед званым обедом», «она плачет за любимого брата», «вершить закон» и т. д. Такого же происхождения невразумительная «вечность исполнения греха», Амалия Петровна, что «маячила перед глазами и жаждалась» и т. д.

Академик В. В. Виноградов писал: «Творческое владение им [русским языком] требует способности постигать и угадывать его своеобразие». Эта способность крайне необходима тому, кто решается обратиться к тонкому искусству стилизации,

кто отваживается хоть на какие-нибудь эксперименты с языком. У Б. Окуджавы данная способность, к сожалению, еще нуждается в дальнейшем усиленном развитии. Пока он не может, например, постичь, что хотя глаголы *говорить* и *произносить* довольно близки по смыслу, а в ином контексте даже почти адекватны, но можно сказать «об этом говорили» и нельзя — «об этом произносили». Написав на одной странице «Авросимов почувствовал, что ...готов схватить ее в охапку», а на другой — «Падай в охапку к нему», он не видит различия между этими фразами, состоящего в том, что первая вполне правильна, а вторая — комически нелепа. О саях, запряженных резвыми конями, конечно, можно сказать, что они летят, но неуклюж оборот речи «чем ближе подлетали сами...». Таково «своєсправие» русского языка.

Однако нельзя сказать, что все языковые странности романа есть результат лишь стремления автора к стилизации. Нет, очень часто они возникают, видимо, совершенно произвольно, без всякого намерения писателя. Например: «его одолевали страшные мысли под влиянием крепостных стен»; «крыльцо, обрамленное колоннами»; «недоступная, словно эхо»; «медленно вращая головой, увидел даму»; «сказал со свойственным ему недоумением»; «ароматные запахи»; «сам он сидел за столом, а мне указал на табурет»; «ветер, весь синий от трубочного дыма»; «Они забавлялись то беседой, то сном» и т. д. и т. д.

На ниве словесности нет ничего печальнее, чем зрелище человека, который хочет сказать одно, а говорит совсем другое, порой совершенно противоположное. Увы, в романе есть и такие случаи: «Нослышались нотки, которые можно было бы называть даже располагающими, когда бы они не были так зловещи». Одно и то же не может быть одновременно располагающим и зловещим; вероятно, автор хотел сказать, что «нотки» были располагающими, а значение слов — зловещим или наоборот,

«Штабс-капитан выхватил шпагу перед глазами государя». Можно подумать, что отчаянный штабс-капитан изготовился напасть на царя, дело же обстоит совсем наоборот: он защищает царя от толпы и шпагу выхватил, конечно, не перед глазами, а на глазах у государя.

Нестель у Окуджавы размышляет о своих судьях, верных царских сатрапах: «Кабы этих господ хоть в малой степени интересовали мысли о благе страны, они должны бы были перешагнуть через страх царевубийства». Но выражение «перешагнуть через страх царевубийства» означает лишь одно — решиться на царевубийство. Наш автор имел в виду, конечно, совсем не это...

Роман «Бедный Авросимов» с его неряшливым языком, к сожалению, не единичное, не исключительное явление в современной русской литературе. Сто лет назад В. И. Даль с горькой иронией писал: «Вскрывает на парях да по телеграфам, досужно ли тут и кстати ли призадумываться над словами, над оборотами речи». Нынешний век куда как расторопней минувшего. Тут уж многим литераторам вовсе недосужно стало призадумываться. И вот плодятся в изрядном количестве повести да романы, стихи да поэмы, статьи да рецензии, о языке которых вполне можно сказать словами того же Далия: «Тут русского, право, иногда не более того, что из милости подаст наборщик, то есть одни буквы».

В. С. БУШИН



Слово писателю

Виктор БОКОВ

ГЕРОИ НАШЕГО ДЕДА

(Заметки о словах)

Слова — как коктейльские камушки: начнешь собирать все подряд — быстро тяжелеют карманы, начнешь строго отбирать — умещаются на ладони и радуют глаз.

Ученый-фольклорист Владимир Аникин сообщил мне частушку, слышанную им на Волге:

Я вѣчѳр, вѣчѳр, вѣчѳр
Простояла у ветѳл,
Я калинушку рвала,
Сказали: милого ждала!



Здесь удивительно слово *вечор* и прекрасна рифма к нему *ветѳл* своей полнотой, смелостью употребления множественного числа в применении к ветле. Слово *вечор* ввел в поэзию Пушкин.

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась...

Цвел юноша *вечор*, а нынче умер...

До Пушкина слово *вечор* встречалось только в народных песнях: я *вечор*, *млада*, во *пиру* была.



Каждый раз коробит меня, когда по радио объявляют:

— Звучит музыка композитора такого-то!

Куда лучше объявляли раньше:

— Послушайте музыку композитора такого-то!

Слушателю предлагается послушать, а звучит ли данная музыка, — пусть решает радиослушатель. А то часто вместо восторга слушатель зевает, а ему внушают, что произведение *звучит!*



Под городом Куйбышевом на Волге вырос новый город — Новокуйбышевск. Открыто недоумеваю этому названию. Разве есть Старокуйбышевск? Откуда же Новокуйбышевск? Народ и тут поправил ошибку против языка и традиции. Я слышал, как на вопрос: куда едешь? — жители города отвечали: в Новокуйбышево.

Народ правильно образует название города и еще прибавляет *-во*: Новокуйбышево. Частичка *-во* как бы заставляет нас ассоциативно вспомнить название волжского села Василево, родину Чкалова. Действительно, новый город в сравнении с самим Куйбышевом по своим масштабам — скорее село, а не равный старому Куйбышеву город.



Удивляюсь тому, как народ создает красоту стиха, инструментом его комбинацией ударения:

Ходила по́ лесу, по ве́ресу,
По же́лтому песку.

Сначала было ударение на *по* и это создало плавную словесную фигуру — *по́ лесу*, потом ударение перешло с *по* на слово *ве́ресу*, и наш слух обрадовался новой словесной ритмической находке — *по ве́ресу*, потом использованный прием ударения на первом слоге повторился в строке — *по же́лтому песку*, но он опять обновился, потому что звонкое *ж* зазвучало сильнее *в* — *в вересе*, и все это логически завершилось резким мужским окончанием — *песку́*. Ритмический круг музыки замкнулся, половина частушки закончилась. Сколько чуткости к слову у народных поэтов, создающих частушку!



Мало, к сожалению, изучаются у нас народные загадки как памятники великой поэзии прошлого, как энциклопедия поэтических образов Древней Руси.

Церковь белена́,
Маковка зеленá.

Загадка о березе. Если вспомнить, что христианскую церковь стали строить на месте языческих игрищ и капищ и береза была святым деревом, будет понятна вся глубина, вся историчность зрительного образа, сравнения березы с храмом.

Народная загадка поражает лаконичным изображением действия, быта:

Маленький Игнат
Под кучкой играт.

Отгадка: ягненок сосет овцу. Кто наблюдал подобную сцену, не может не восхититься просторечным глаголом *играт*. Именно *играт*, а не *играет*. В двух строчках нарисована картина, так и видишь жизнестойкого ягненка, который поддает под вымя овцематки и требует молока!

И еще один пример из мира загадок:

Коли лед,
Доставай серебро,
Возьмешь серебро,
Бери золото.

Отгадка: куриное яйцо. Считаю это произведение шедевром работы над словом. Глаголы — *коли*, *доставай*, *возьмешь*, *бери* — срослись своим синонимическим родством, их не разнишь. И так мало заняло места самое произведение: всего четыре строки!



Какую радость испытал я однажды на Урале! Пришлось ночевать мне в селе Белоярке, на родине Уральского народного хора. Я нашел такого хозяина, у которого сеновал. Утром спускаюсь, а хозяин косу отбивает. Вот, думаю, пойду покошу с ним в охотку. Подхожу, здороваюсь и, уверенный в том, что сейчас все и решится, спрашиваю:

— Покошим?

Хозяин посмотрел хмуро:

— Не придется!

— Это почему же? — удивился я.

— Сегодня одна гребь будет.

Как меня настроило, вооружило чувством народной речи слово *гребь*! Вспомнил есенинские: *цветь, звень, мреть, выть, гать*.

А началось-то еще с Пушкина — и он любил эти односложные: *топь, молвь*, это знаменитое начало *жил-был поп*, и Маяковский ведь слышал силу одного слога:

Труд,
мир,
май!

И Гоголь, этот великий «композитор» прозы, тоже ведь строил свой шедевр «Чуден Днепр при тихой погоде» не без учета чередования односложных и двусложных слов.



В том же селе, в той же Белоярке, зашел я в хату к Александре Дмитриевне Смирнягиной, руководительнице народного хора села Белоярки. В избе сидит отец, Белым фартуком, во всю грудь борода. Смотрит на меня величественно, придирчиво-грозно.

— Откуда человек? — спрашивает дочку.

— Москвич.

Старик не смилостивился, а я не оробел. Оглядываю дом, убранство. Пол застелен половиками своего производства, очень красочными, причудливыми по рисунку и орнаменту. На всех подоконниках цветы.

— Ну, что, Шура, — деланно бодро сказал я, — пойдем на репетицию?

Шура при отце терялась.

— Сады поливала? — строго спросил отец.

— Поливала, — сказала Шура и робко попросилась: — Я пойду?

— Иди! — неодобрительно разрешил отец.

Садами оказались цветы на подоконниках. Тогда понял я частушку, которую разгадывал много лет:

Под окошечком следы,
На окошечке сады.
Не мся ли крошечка
Стояла у окошечка?!

А я-то раньше думал, что сады — рисунки деда-мороза на стеклах.



Еду в такси по Москве. Где-то около Казанского вокзала движение машины остановилось.

— Авария? — спрашиваю водителя.

— Сохатый дорогу загородил!

«Сохатым» оказался троллейбус, «рога» которого сошли с роликов, и троллейбус встал поперек улицы.

Думаю о том, что если исчезнут все жанры фольклора, художественное творчество народа не прекратится. Живая речь народа — мощный источник фольклора, питающий ум и душу творцов художественного слова.



Очень люблю слово *сазан*. Оно звенит как натянутая тетива. Выудить сазана не так-то просто. Он рвет самые прочные лески и ломает удочки. Названия ходовых рыб, продающихся сейчас в магазинах, — хек, макрурус, бильдюга, нототения — так мало говорят уму и сердцу.

Сам слышал разговор в очереди:

— Миленькая, что это за рыба?

— Нототения, бабушка, — ответила молоденькая рыжеватая продавщица.

— Почему эта нетатень? — тотчас же переделала бабушка.

Я был на ее стороне!



Много лет дружил я с Михаилом Пришвиным, который первый заметил меня как поэта, когда я учился в Загорском педтехникуме. Жил он в тридцатые годы в Загорске, в двухэтажном сером домике, на Комсомольской, 85. Как-то сидит Михаил Михайлович у себя дома, рядом любимая собака Лада. Михаил Михайлович рассказывает мне что-то и вдруг меняет тему разговора и спрашивает:

— А вы слышали такое слово — *воспарение*?

— Мать моя это слово говорит.

— Чудесное слово. Как бы его в литературу ввести?

А потом по-хорошему хвастая и сознавая, кто он в литературе, на что, как художник слова способен, стал уверять меня:

— А я введу, введу!

Уже после смерти Пришвина, я нашел это слово в его произведении — ввел!



В 1936 году, будучи студентом Литературного института имени Горького, приехал я с группой старшеклассников в рязанское село Сапожок в экспедицию по сбору фольклора. Тогда впервые понял и оценил я всю предельность, всю лирическую силу рязанских страданий,

которые, как известно, пел под гармонь Сергей Есенин и собирал и издавал.

К дочери хозяйки, у которой мы остановились, пришла подруга и спросила:

— Пойдешь в лебеду?

— Обязательно! — ответила кареглазая шестнадцатилетняя красавица.

— А нам можно в лебеду? — попросился я.

— Айда! — как атаман, скомандовала девушка-сорванец.

Пришли мы на пустырь за околицу. Там в посохшей от зноя лебеде, бурьяне и чернобыле раздавались залихватские переборы гармони. Держа в руках веточки сирени, девушки стояли около гармониста, томно млели и «страдали». Первые же строки, которые я услышал, обожгли меня своей силой, своей оригинальной рифмой:

Сыграй, милый, в разлив, в разлив,
Мому сердцу разрыв, разрыв.
Приколю на грудь сирёня,
Милый любит, я сильнее!

После гуляния в лебеде совершенно по-новому зазвучали для меня строки Есенина:

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.

Лебеда здесь была реальная, бытовая, так бы и Лев Толстой мог написать, когда творил «Казаков».



Герой нашего дела — слово, говорил на съезде писателей Георгий Леонидзе. Грузинские поэты свидетельствуют, что Леонидзе владел родниковыми тайнами грузинского языка.

Да, герой нашего дела — слово. Из него строятся и великие и не великие произведения. Все зависит от того, какой мастер берет-ся за дело и как он владеет тайной обращения с живым словесным материалом, творимым миллионам говорящих и думающих людей.



НЕУТОМИМЫЙ СОБИРАТЕЛЬ

Известного уральского краеведа, фольклориста и писателя Владимира Павловича Бирюкова нередко упрекают за то, что он живет «в глуши». Но именно этой своей постоянной непосредственной связи с родным краем обязан он тем, что сумел сделать за долгую и богатую впечатлениями жизнь.

Предки В. П. Бирюкова больше столетия жили на уральской земле. Там же, на Урале, родился в 1888 году и сам Владимир Павлович.

С детства окружали его уральцы, говорившие на каком-то удивительном языке, так не похожем на тот язык, с которым мальчик знакомился по книгам.

Ехал Ванька по́ воду,
Нашел кринку солоду,
Замешал кулажку,
Сбегал по Палашку.

Так пела няня. Мать, подбрасывая на руках грудных ребятишек, приговаривала:

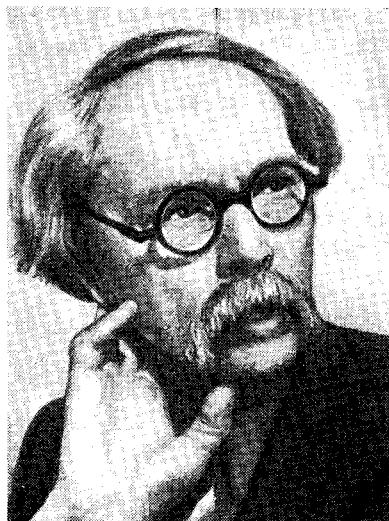
Поскакать, поплясать,
Про все города сказать:
Про Казань, про Рязань
Да про Астрахань.

Знала мать множество поговорок, пословиц, загадок, сказок и песен. Ее песни — протяжная «Во поле березонька стояла», «Я поеду во Китайгород гуляти» — запомнились сыну на всю жизнь. В речи отца находил он также необычные, «древние» слова — такие, как «комонь». Много позже, читая звенящие строки «Слова о полку Игореве», Владимир Павлович вспомнил это отцовское слово: «Комони ржуть за Сулою...»; «А всядем,

на свои бързья комони да позрим синего Дону...».

Сестры и братья разъезжались в разные города на учебу и привозили оттуда новые слова, новые песни, слышанные ими в Екатеринбурге, Камышлове и других городах Урала. От людей, во множестве бывавших в доме Бирюковых, слышал мальчик воспоминания о старине, легенды, народные сказки.

Позднее, вспоминая годы детства, Владимир Павлович писал в автобиографии: «Уже в детские годы я имел возможность хорошо изучить



свое родное наречие. Я стал понимать мельчайшие оттенки значения каждого слова. Это было почвой, на которой выросла моя любовь к народному языку, к устному народному творчеству». Страстный интерес к родному слову, зародившийся еще в раннем детстве, с годами рос и принимал все более целенаправленный характер.

Осенью 1902 года отец отвез 14-летнего Володю в Пермь учиться в духовную семинарию. Здесь жизнь столкнула его, мальчика зауральской деревни, с иным миром и иными настроениями. В рабочей слободке Перми жили сапожники, поденщики, нищие... Тоской и бедностью пахнуло на деревенского подростка от тесных

квартир и грязных дворов. Трудно было семинаристу В. Бирюкову сохранить в этих условиях свою наивную детскую веру в бога. Не случайно поэтому в бурном 1905 году он принимает участие во всероссийской забастовке, становится автором статей и заметок, редактором (и даже печатником) нелегального ученического журнала «Наши думы».

К тому времени Владимир Павлович окончательно утвердился в своем желании порвать с духовной средой. Все его детские и юношеские годы были неразрывно связаны с языком и творчеством уральского народа. И здесь, в Перми, слышал он слова других губерний Урала; иные, незнакомые песни пели судовые рабочие Прикамья, жители Приуральяских «лесных пустынь»...

Учиться на историко-филологическом факультете — такое страстное желание охватило молодого семинариста. Но по указу царского правительства молодым людям, покинувшим семинарию, запрещалось поступать во многие высшие учебные заведения России, особенно в университеты. К числу «незапретных» принадлежали, в частности, ветеринарные институты. Работа ветеринарного врача, по правде сказать, не слишком привлекала Владимира Павловича. Но, закончив ветеринарный институт, можно было добиться осуществления своей мечты. Такой путь был нелегким и долгим. Однако, как видно, слишком сильным было стремление заниматься любимым делом, слишком крепкой оказалась «уральская закваска» молодого семинариста, чтобы отступить перед трудностями.

В годы учебы в Казанском ветеринарном институте В. П. Бирюков продолжает страстно интересоваться литературой, языком, историей. Он становится постоянным посетителем заседаний научных обществ естествоиспытателей, археологии, истории, этнографии, слушает доклады по диалектологии, этнографии и фольклору, пишет отчеты о заседаниях в местные газеты. В летние месяцы Владимир Павлович занимается археологическими раскопками, продолжает собирать краеведческую коллекцию, начало которой было положено еще в детские годы. А летом

1910 года В. П. Бирюков добивается открытия первого в Зауралье краеведческого музея.

Нельзя сказать, что занятия в ветеринарном институте были для В. П. Бирюкова лишь тем «переходом», который давал возможность поступить на историко-филологический факультет. Он прекрасно понимал, как необходимы знания, полученные им в этой области, для работы в селе. Во время зимних каникул В. П. Бирюков организует для крестьян сельскохозяйственные курсы, где читает лекции по ветеринарии и кооперации, возглавляет одну из экспедиционных партий по обследованию скотоводства в Пермской губернии. А в московском журнале «Ветеринарная жизнь» с 1910 года появляются рефераты научных статей, заметки и статьи за подписью Вл. Зауральский: такой псевдоним выбрал себе В. П. Бирюков для этого рода деятельности.

Весной 1912 года Владимир Павлович переезжает в Москву, где поступает одновременно в два института: сельскохозяйственный (теперь Сельскохозяйственная академия имени А. К. Тимирязева) и археологический. Во время летних экспедиций (таким путем он зарабатывал на учебе) В. П. Бирюков продолжает собирать археологические коллекции и с 1913 года впервые начинает записывать местные слова и выражения.

Оказавшись в 1913 году в Томске по мобилизации (как ветеринарный врач), Владимир Павлович сразу же становится вольнослушателем историко-филологического факультета Томского университета, где в то время был объявлен конкурс на лучшую работу по русскому языку. В. П. Бирюков с жаром принимается за составление словаря говора родного села и описание особенностей местного наречия. Он знакомится с областными словарями Г. Куликовского и А. Подвысоцкого, сопоставляя уральскую лексику с олонечкой и архангельской. За эту работу комиссия, в состав которой входил известный русский языковед С. П. Обнорский, присудила В. П. Бирюкову серебряную медаль.

Занятия языком, историей и археологией не смогла прервать даже первая мировая война. В 1914 году, по-

лучив случайное ранение, Владимир Павлович был эвакуирован в Москву, где продолжал слушать лекции и участвовал в практических занятиях у известного археолога В. А. Городцова. До возвращения в действующую армию он успел защитить дипломную работу, за которую был награжден золотой медалью. Одновременно ему было присвоено звание действительного члена Московского археологического института.

Воинская часть, в которой служил после выздоровления В. П. Бирюков, оказалась переброшенной на юг России. И здесь Владимир Павлович не перестает заниматься диалектными и фольклорными записями, интересуется этнографией, производит раскопки. В 1917 году он организует в Хороле выставку украинского народного творчества, из экспонатов которой затем создает местный краеведческий музей.

После революции деятельность В. П. Бирюкова становится еще более активной. Он много ездит и ходит по Уралу, собирает предания и легенды, сказки и песни, наблюдает особенности местного произношения, записывает диалектные слова. Изучение диалектов остается для него средством глубокого проникновения в историю народа. «Изучение особенностей местного говора,— пишет Владимир Павлович,— открыло мне глаза на историю Уральского края, на связь ее с историей всего нашего отечества... Я глубоко убежден, что диалектолог должен быть в равной степени фольклористом, а фольклорист — диалектологом».

Он стремится к тому, чтобы записи слов были предельно точными. Одновременно его занимают вопросы топонимики и ономастики. Среди книг, опубликованных им в этот период, появляется «Краевой словарь говора Исетского Зауралья». В начале 20-х годов Владимир Павлович принимает участие в работе над «Словарем русского языка», гранки которого Академия наук посылает ему для всякого рода дополнений и исправлений.

Трудно перечислить все, чем занимался и занимается В. П. Бирюков. Его перу принадлежат многочисленные книги — такие, как «Дореволюционный фольклор на Урале», «Ис-

торические сказки и песни», «Крылатые слова на Урале», «Урал советский», «Записки уральского краеведа», «Литературное наследие Урала» и многие другие. Он преподает в педагогических институтах Свердловска, Шадринска, Челябинска, где читает лекции по фольклору, древней русской литературе, археологии, занимается делами созданного им в городе Шадринске краеведческого музея, участвует в научных конференциях... Словарными материалами В. П. Бирюкова с благодарностью пользуются составители «Словаря русских народных говоров», издаваемого сейчас Академией наук СССР.

Вклад его в русскую науку велик и неоценим. Правда, сам Владимир Павлович постоянно подчеркивает, что он не ученый. Но, право же, как много потеряла бы наша наука, не будь у нее таких бесценных помощников!

Все, что делал и делает В. П. Бирюков, он отдает народу. Свое огромное книжное собрание передал он в дар Челябинской областной библиотеке, краеведческую коллекцию — музею в городе Шадринске. Личный архив В. П. Бирюкова, переданный им Государственному архиву Урала в Свердловске, составил основу того отдела, который называется Уральским архивом литературы и искусства.

Личный архив Владимира Павловича заслуживает отдельного разговора. Здесь хранятся папки с автографами А. В. Луначарского, М. И. Калинина, В. Д. Бонч-Бруевича, ученых С. П. Обнорского, А. Е. Ферсмана, Н. Я. Марра, В. Н. Сукачева, Ю. М. Соколова, Н. К. Пиксанова, скульптора И. Д. Шадра, поэта Демьяна Бедного, письма А. М. Горького, А. П. Чехова, Н. Д. Телешова и многих других известных политических деятелей и представителей русской культуры. Есть в архиве В. П. Бирюкова письмо славного героя Эллады Манолиса Глезоса, приехавшего в СССР в 1963 году. В этом собрании можно найти бесценные рукописи, в том числе рукописный экземпляр комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» 1827 года...

Каждое утро в девять часов в Государственном архиве города Сверд-

ловска появляется статный подтянутый старик с седой головой и зорким взглядом светлых глаз. За его плечами больше восьмидесяти лет жизни, полной труда и непрерывного горения.

«Больше сделайте добра, и тогда вы будете жить в потомстве вечно,

пусть даже имя ваше не будет ему ведомо. Высшей формой деятельности я считаю труд на пользу общую...». Эти слова Владимира Павловича Бирюкова, заключающие его новую книгу, можно поставить эпиграфом к собственному жизненному пути неутомимого собирателя.

В. П. БИРЮКОВ

ПАМЯТИ ПО «ЦАРЕ»

В сороковые годы XVII столетия на берегах уральской реки Исети стали появляться русские люди: ловить рыбу, промыслять выдр и бобров, строить «заимки» — занятые жильем места, землю пахать. Напротив впадения в Исеть притока Течи, вокруг только что образовавшегося монастыря начала строиться Служная слобода, преобразованная в 1781 году в город Далматов. На той же Исети, сорока пятью верстами ниже Служной слободы, какой-то не то Шадра, не то Шадрин основал Шадрину заимку, позже преобразованную в слободу. В 1712 году ее переименовали в город Шадринск, сделав главным начальствующим местом над средним течением Исети, над той же Служной слободой.

Еще в конце XVIII века в Шадринске появилось первое учебное заведение — малое народное училище. А к тридцатым годам прошлого века в городе было и три церкви: Преображенский собор и приходская Николаевская — обе каменные, и третья Фроловская, деревянная, изумительной красоты. В 1828 году Шадринск посетил «визитатор училищ», друг известного русского деятеля М. М. Сперанского, автор «Исторического обозрения Сибири», Петр Андреевич Словцов. В своих путевых записках, напечатанных в 1830 году в «Московском телеграфе», автор особо отмечает красоту деревянной церкви. Вероятно, она чем-то напоминала чудесные творения Кижского погоста.

С 1712 года Шадринском правят коменданты, а потом появляется городничий. На улицах нет-нет да и промелькнут белые штаны с голубым клапаном городского — солдата из инвалидной команды. Народ сложил про него песенку:

Дедушко старик городской,
Штаны белые, середыш голубой...

Шадрино, как называл народ свой город, расположился на левом берегу Исети, а на противоположном стала расти деревня Осеева. В городе жили купцы, ремесленники, чиновники в мундирах, чиновники в рясах и подрясниках, а в деревне — пахари.

Неспокойно жилось в Зауралье: то в 1760-х годах вспыхнула «дубинщина» и восстание приписных к демидовским заводам мужиков, а через десяток лет «Пугач прошел»; да мало ли было проявлений народного недовольства и позже.

В 30-е годы прошлого века городничим Шадринска был некий Арефьев. Мудрено было управляться ему на таком муравьище. Только и отрады было, что возьмет томик пушкинских стихов и зачитается творениями великого поэта... Очень любил Пушкина. Не исключено, что знал поэта и лично.

И вот неожиданно приходит в Шадринск от верных людей из столицы горестная весть: закатилось солнце русской поэзии — скончался Александр Сергеевич Пушкин, а при каких обстоятельствах случилось то, друзья умалчивали; знали ведь, что уездные почтмейстеры непременно вскроют и прочтут, — писать правду было нельзя...

Неожиданным было это известие для большого почитателя пушкинского творчества и, кто знает, может, одного из друзей, пострадавших в двадцать пятом году, городничего Арефьева. Да и где было знать ему в такой дали от столицы, при каких обстоятельствах неожиданно скончался поэт? Несомненно, подозревал, как отосился к нему царь Николай Палкин, так многим ненавистный в Российской империи. А все же, что за причина?

Схватился Арефьев за голову:

— Неужели! Неужели? — ведь поэт-то был еще молод, ровесник мне, Арефьеву...

— Почтить, почтить память великого творца!.. А как?

По тем временам единственно, что было в силах шадринского начальника — это распорядиться отслужить в соборе всенародно панихиду.

«А согласится ли протопоп?» — задумался Арефьев.

Шадринцы вставали рано, рано и спать ложились. Было восемь утра, горожане уже давно на ногах. И Арефьев самолично отправился к протопопу.

Тот уже позавтракал. Услыхав от прислуги, что пришел городничий, наскоро надел подрясник и вышел в горницу:

— А, дорогой гостенек пожаловал! Прошу быть при месте...

Арефьев не сел и сразу заговорил:

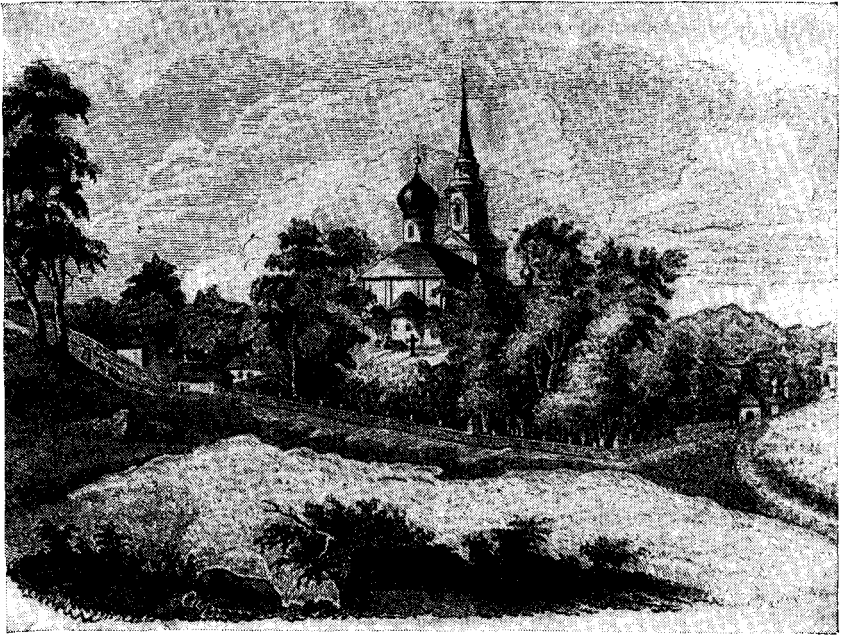
— Отец протопоп, вам Пушкин вѣдом, поэт Пушкин?

— Господи боже! Да как же такого пшиту не знать,—

Буря мглою небо кроет...

Он каждому просвещенному человеку должен быть знаем, да и простой люд наслышан...

— Так, Александр-то Сергеевич скончался! — еле произнес городничий.



*Святогорский монастырь и могила А. С. Пушкина
Журнал «Иллюстрация», 1848 год*

— Скончался?! Умер? — переспросил протопоп, очевидно, пораженный такой вестью; подошел к висевшему в углу образу и истово перекрестился: «Упокой, господи, душу раба твоего! Вечная ему память...».

— Отец протопоп, почтите его память всенародною панихидой.

— Похвально, похвально!

— Я сделаю наряд гражданским и воинским чинам и всем людям, а вы уж по градским церквам, священству, чтобы прибыли в собор...

— Непременно, непременно, — соборне надлежит отслужить. И не панихиду, а литию, литию...

Служение было назначено на двенадцать часов дня.

В одиннадцать часов загудел соборный колокол. Тогда на колокольне градского собора еще не было тысячепудового, а все же в три сотни уже висел... И полились редкие, печальные удары.

Городовые уже обежали все «присутственные места», по купеческим лавкам, на Хлебной и Конной площадях побывали, всюду разгласили, чтобы в двенадцать часов народ был в соборе.

— Панихида будет! — отвечали городовые на вопросы любопытных, а по ком, ничего не могли сказать, а только по «каком-то важном».

— Уж не по царе ли? Не царь ли Николай помер? — строили догадки.

Народ еще помнил, как сравнительно недавно умер Александр Первый, и теперь стали толковать:

— Лучше ли будет при новом-то царе? Каков-то он? Неужто не станет свободнее?..

И народ потянулся в собор. Примундирился городничий, от него не отстали и прочие чины.

Дорогой старики спрашивают:

— Городничий-батюшко, не царь ли упокоился?

— Царь, царь... царь поэтов...

— Как он сказал-то? Какого царь-то? — переспрашивали друг у друга горожане.

— Мудрено как-то назвал...

Лития существеннее панихиды и совершалась на середине собора: вокруг малого аналая расположилась плеяда священников в черных ризах.

Дьякон собора могучим голосом положил начало:

— Благослови, владыко!

Баритоном ответил протопоп:

— Благословен бог наш...

Хор с правого клироса откликнулся протяжно:

— А-аминь...

Церковные поэты и композиторы умели схватить человека за душу, заставив его то радоваться, как в пасху, то печалиться, как в великий пост, во время панихиды.

Жутко было на душе городничего. Он то забудет, что стоит в храме, то, вспомнив, изредка перекрестится.

Лития кончилась. Протопоп на своем церковном языке печально-протяжно возглашает.

«Во блаженном успении вечный покой подаждь, господи, новопреставленному боярину Александру и сотвори ему вечную память», — певуче закончил протопоп.

Хор сначала тихо, словно от натуги, повторяет «вечную память»... потом все усиливает и усиливает, а последний слог «мять» так гаркнул, что задрожали в окнах стекла.

Городничий опустился на одно колено, а при последних звуках — на оба, склонился к полу и заплакал...

Не выдержали и стоявшие вблизи его, особенно женщины, и собор огласился общим плачем по царе поэтов...

Народ стал расходиться из собора, на все лады толкуя. Немногие были слышаны о Пушкине, о возможных причинах преждевременной смерти поэта, а «черный люд» недоумевал:

— Царя-то ведь Николаем звали, а почему отец протопоп поминал Александра?

— Видно, по старой памяти: перепутал царские-то имена наш отец протопоп... Со всяким это бывает, особенно со стариками.

Недреманые очи и уши государевы были в каждой щели империи Российской и довели до сведения губернатора о шадринской панихиде; Шадринск был тогда уездным городом Пермской губернии.

Губернатор, бывший в курсе всех придворных новостей и интриг, пришел в ярость, а прежде всего от страха перед Николаем Палкиным:

— Немедленно вызвать шадринского городничего!

Невзирая на распутицу, на время суток, тотчас же снаряжился курьер и поскакал в далекий зауральский Шадринск — более полутысячи верст — с грозным губернаторским предписанием городничему Арефьеву немедленно явиться в губернский город Пермь.

Возможно, что с тем же курьером, не успев как следует снарядиться в дорогу, отправился Арефьев из своего города.

Позеленевший от злости, губернатор затопал на городничего ногами:

— Да как ты смел?! Да знаешь ли ты, как его величество относился к этому поэтишке...

Невесело возвращался Арефьев на городничество, запечалился: немил стал ему теперь белый свет...

Был апрель месяц. На Исети тронулся лед. В городе оказались люди, которым надо было дозарезу вернуться на правый, деревенский берег, а на реке лед пошел.

— Была — не была, — перекрестившись, стали люди прыгать с льдины на льдину, а кое-кто и тонуть.

На исетский берег высыпал чуть не весь город, чтобы полюбоваться ожившей ледяной стихией. Для одуревшего от скуки за долгую зиму народа это зрелище было самым желанным. Пришел сюда и городничий, чтобы как-то отвлечься от обуревавших его дум.

— Тонут! Тонут! — слышались крики.

— Спасите! Спасите! — несло с реки.

А на берегу люди только топтались, охали да ахали, и никто не насмелился кинуться на спасение.

Вспомнил Арефьев, как Великий Петр, рискуя жизнью, бросился спасать утопавших на Лахте людей, — и городничий кинулся на помощь утопавшим в Исети землякам.

Вытащить-то их вытащил, а сам продрог, простудился и слег с воспалением легких... Как уездный лекарь ни старался, помочь городничему не смог.

Вскоре опять загудел соборный колокол, на этот раз сзывая шадринцев на отпевание своего городничего.

То был уже не царь, а свой городничий-человеколюбец. Недаром протопоп, напуганный в могилу Арефьева, возгласил на своем церковном языке:

— Больше же сия любви никто же имать, как кто душу свою положит за други своя...

Теперь люди плакали по своему близкому человеку, плакали большими, домашними слезами — не по приказу, а от настоящего горя: люди лишались заступника и друга...

НА СЪЕЗДЕ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

24—27 марта этого года в Москве проходил III съезд писателей РСФСР. На съезд прибыло 488 делегатов, представлявших многонациональную литературу Российской Федерации, 42 литературных языка республики. Среди важнейших вопросов, обсуждавшихся на съезде, значительное место занимали вопросы литературного мастерства.

Во вступительном слове Леонид Соболев привел известное определение Горького «язык — первоэлемент литературы». Л. Соболев сказал:

«Каждое верно найденное слово — это стальное колечко той крепкой кольчуги, в которой идея писателя выходит на бой с врагами, каждое точное слово — это волшебная нить, из которой соткано праздничное платье, когда книга идет к друзьям...

Беречь слово — вот долг советского писателя. Искать его народную сущность, очищать от наносной пошлости, шлифовать его алмазные грани, учиться владеть им и в письме, и в речи, чтобы точно и впечатляюще выражать чувства, образы, а главное — мысль, как умел это делать Ленин».

В докладах М. Алексеева о прозе и Вас. Федорова о поэзии на многих примерах из литератур народов Советской России была показана роль национального слова как способа выражения народной идеи. Писателями эта идея воплощается в ярком художественном слове при решении историко-революционной и патриотической темы, при исследовании характера советского человека.

М. Алексеев, обращаясь к истории советской литературы, к опыту рабо-

ты с русским словом таких мастеров, как Михаил Шолохов, Леонид Леонов, Константин Федин, Леонид Соболев, Константин Паустовский, Василий Смирнов, Соколов-Микитов, считает необходимым сделать чрезвычайно важный для всей нашей современной литературы вывод: «если мы считаем закономерным, естественным, а значит, и плодотворным явление, которое именуем как преемственность поколений, то должны были бы признать закономерной и плодотворной преемственностью и родного слова, уходящего корнями в глубины веков и восходящего к тем далеким временам, где мы складывались как нация, где зарождалось, зачиналось то, что дало нам основание называться Россией, и вкладывать в это бесконечно много. Говоря коротко: работа с родным словом (я не имею в виду только русское слово) — дело в высшей степени патристическое».

Отмечая несомненный успех деревенской прозы в многоязычной советской литературе последних лет, М. Алексеев видит причины этого успеха и в том, что писатели не стоят в стороне от больших государственных забот, и в том, что любовь к земле, вера в человека и его доброе сердце сочетается в лучших произведениях о советской деревне с «серьезным отношением к главному строительному материалу — слову».

Настоящих мастеров слова М. Алексеев назвал в числе первых разведчиков животрепещущей деревенской темы — это очеркисты и публицисты В. Овечкин, В. Солоухин, Л. Иванов... В числе писателей, создавших «произведения глубинного, исследовательского характера», докладчик упомянул Г. Николаеву, В. Закруткина, М. Бубеннова, Е. Пермитина, С. Бабаевского, А. Калинин, В. Фоменко, Г. Маркова, П. Проскурина, А. Иванова, И. Стаднюка, С. Крутилина, С. Залыгина, Ф. Абрамова, М. Годенко, А. Ананьева, Г. Коновалова; отметил глубоко национальный характер прозы манси Ювана Шесталова, тувинца Алдыноол Даржаа, даргинца Ахмедхана Абу-Бакара... «Если всеми нами быстро был замечен талант таких писателей, как В. Белов, В. Астафьев, Е. Носов, В. Шукшин, В. Лихоносов, волгоградец И. Данилов, то ведь это тоже прежде всего

по причине их сыновнего, бережного, я бы сказал, влюбленного отношения к родному слову.

К общей нашей с вами радости, таких авторов не коснулась своим холодным, мертвящим дыханием вымученная, выдуманная, вымороченная от начала до конца „теория“ телеграфного стиля, якобы более подходящего нынешнему веку великих скоростей, „теория“ некоей „молодой исповедальной“ прозы с ее инфантильными героями; šťastливо обошел их стороной и широко распространившийся какой-то средне-грамматический язык, столько же чистый, сколько и безвкусный...».

Мысли о преемственности литературного слова, о необходимости бережного обращения с ним были поддержаны большинством литераторов, выступивших на съезде. С. Михалков сказал:

«Если мы служим нашей литературе, а стало быть, и нашему Отечеству, то мы должны чаще вспоминать, как относился Владимир Ильич Ленин к тому языку, на котором мы пишем наши книги.

Только тогда писатель оправдывает свое назначение, когда он говорит о политике, о народе, о партии, о нашем современнике и его деле, во всей мере искусства наследуя великую русскую и советскую классику».

Якут Семен Данилов все свое выступление посвятил значению национальной формы и особенно роли родного языка в литературном творчестве: «Развитие национальных литератур происходит только в условиях расцвета национальных языков, национальной культуры. Любое пренебрежение национальной спецификой литературы, национальным языком не может не вызвать настороженности... Думая о скором исчезновении своего языка, невозможно с его помощью создавать шедевры... Ни один народ никогда и нигде не создавал и не развивал свою культуру на языке, не родном для него».

Во многих выступлениях на съезде подчеркивалось единство национального и интернационального в советской литературе, звучали справедливые упреки в адрес теоретиков литературы, критиков, писателей, которые пытаются разорвать или хотя

бы поставить под сомнение это единство.

Подробно был рассмотрен ход полемики о национальном своеобразии литературы, развернувшейся на страницах наших литературных журналов и еженедельников, в выступлениях С. Викулова. Он отстаивал позицию литераторов, которые высказывают мысль о том, что «литература не должна отрываться от национальных корней, что писателям предпочтительней обеими ногами стоять на родной почве и не качаться и не устывать черпать из родника народной нравственности, национальных традиций».

С. Викулов отметил очевидную, по его мнению, предвзятость, проявляющуюся в самом подходе некоторых критиков к этой сложной проблеме, а также и теоретическую слабость ряда критических работ, таких, как статьи А. Деметьева, И. Дедкова, В. Камянова, Г. Бровмана, И. Мотышова, А. Марченко, посвященные национальным особенностям современной русской литературы.

На недостатки в литературной критике обратил внимание и В. Закруткин: «Слова „народность и партийность литературы“ мы встречаем чуть ли не в каждой газете и в каждом журнале. Однако, к глубокому сожалению, в критике нашей еще далеко не достаточно разработаны эти важнейшие вопросы. Сплошь и рядом, анализируя то или иное произведение, авторы статей говорят о народности его создателя, но при этом не хотят знать, как воплотил он национальные формы искусства народа, насколько своеобразен его язык. Бывает и так, что в анализируемом произведении нет ни грамма коммунистической партийности, а критик почему-то об этом стыдливо молчит. Отдельные же авторы статей никак не могут уяснить, что понятие „национальный“ и „интернациональный“ не взаимоисключаются, что „интернациональный долг“ по отношению к трудящимся всего мира нисколько не отрицает национальных особенностей народов Советской страны».

В докладе Федорова была дана принципиальная оценка роли национальной формы при решении коренной темы нашей поэзии — темы России: «Общность судеб нашего народа с другими народами, Ленин и рево-

люция сделали эту тему интернациональной. Подлинный интернационализм рождается только в любви к своему народу, к его труду, к его славе. Кто не любит и не понимает своего народа, не поймет и не полюбит другого, его культуры, его борьбы за лучшее будущее».

Понятие «поэтическое слово» у В. Федорова осмыслено глубоко исторически: «Мы относимся к языку как к инструменту, как к средству поэтического выражения, а между тем в нем заложено нечто большее. В каждом слове исторически отложилась духовная энергия народа, подобно тому, как в дереве, в каменном угле отложилась энергия солнца. Задача поэта — извлечение этой духовной энергии».

Горячо ратуя за преемственность поэтической речи, отстаивая право поэта искать самовитое слово, В. Федоров, правда, несколько недооценивает художественного значения слов новых, когда он говорит: «Мы обогащаемся социально — общественными, техническими, медицинскими, научными словами, но обратите внимание на то, что за полвека не родилось ни одного слова, которое бы выражало какое-то наше новое душевное, морально-нравственное состояние». Противоречит этому не только наша повседневная устная и письменная речь, но и поэзия самого В. Федорова, заставляющего сиять заново в самом высоком поэтическом смысле такие привычные слова, как, например, **завод, план...**

На практике В. Федоров совсем не антиквар:

Таким легко:

Спиной — к заботам,
Лицом — в мечтательный туман...
А мне идти с моим заводом,
Опять не выполнившим план.
А мне дорогами крутыми
На поиск небывалых дней
Идти с соседями моими,
Со всей оравой их детей.
А мне шагать с моей любимой
Сквозь кухонный переполох,
С моей нигде не заменимой
И даже в лучшей из эпох.
А мне, забыв о нареканьях,
Без страха, без обиняков,
Ругаться, спорить на собраниях
И наживать себе врагов.

Горячим словом,
Словом бьющим —
О, если б мог я передать
Всю ненависть к лениво ждущим,—
Жизнь слишком коротка, чтоб
ждать!

Вас. Федоров справедливо утверждает: «Язык — душа образа», потому образ современника и воплощается в нашей поэзии в слове вполне современным — сохраняющемся в народе в течение веков или недавно появившемся, но достойном поэзии близостью своей к жизни, мыслям народа.

Затрагивая проблемы теории поэтической речи, Вас. Федоров спорит с теми, кто «смотрит на литературу по рецептам „Литературной энциклопедии“ [здесь о статье «Поэтика», т. V.— В. Д.] — отрешенно, вне времени, думая, что бумага родит бумагу, слово родит слово, тогда как слово в конечном итоге должно родить нечто другое, более материальное». Так и жизнь народа, его дела должны родить близкое и понятное ему слово у народных поэтов.

Такое слово рождается, оно о великом прошлом народа, о прекрасном его настоящем, и светлом будущем: «Если вы внимательно прочтете книгу „День России“ Я. Смелякова, удостоенную Государственной премии СССР, то увидите, что вся книга посвящена историческим связям — с классической поэзией, с рязанскими Маратами времен революции, с командармами давних лет, с героями пятилеток, с революционерами угнетенных стран, с бессмертием русского языка».

Ты, пахнувший прелой овчиной
и дедовским острым кваском,
писался и черной лучиной
и белым лебяжьим пером.
Ты — выше цены и расценки —
в году сорок первом, потом
писался в немецком застенке
на слабой известке гвоздем.
Владыки и те исчезали
мгновенно и наверняка,
когда невзначай посягали
на русскую суть языка.

В. Я. ДЕРЯГИН

«ГОВОРИТ МОСКВА...»

Святая святых Дома Всесоюзного радио — «эфирный коридор». Отсюда, из этих студий в мир улетают сотни и сотни радиопередач: музыкальных и драматических, развлекательных и серьезных, для детей и для взрослых, для любителей футбола и для любителей балета... И ни одна из них не обходится без участия диктора. Иногда это участие бывает минимальным: объявить название и автора передачи. Но значительно чаще диктор — полноправный хозяин передачи — ее последний редактор, режиссер, ее исполнитель.

Голоса радиодикторов известны нам очень хорошо. Мы даже не представляем себе, как хорошо они нам известны!.. Едва я попал в «эфирный коридор», как меня обступили знакомые звуки: мелодия-заставка передачи «С добрым утром», позывные «Маяка», но главное — голоса. Невольно оборачиваешься — два диктора разговаривают о чем-то.

— Здравствуйте. Вы диктор Балашов, а Вы — Богомолов?

— Совершенно верно.

Некоторое время привыкаю к тому, что вот эти два незнакомых мне человека говорят очень знакомыми голосами.

— Расскажите, пожалуйста, как Вы стали диктором и почему решили избрать эту профессию?

С. А. Богомолов. Прежде я был актером, работал в Свердловске. Но профессия диктора мне всегда нравилась. И еще будучи в театре, я пробовал свои силы в чтении искусства — «озвучивал» докумен-

тальные фильмы, почитывал на радио... Радио — это очень увлекательно! Ни жеста, ни грима — все в твоём голосе. Ты сам целый театр!

В. Н. Балашов. Я тоже пришел на радио со сцены. В 1942 году окончил ГИТИС и затем 14 лет работал в театре. Первые годы — до конца войны — во фронтовом, потом поступил в Гастрольный театр (сейчас он называется Московский гастрольный театр комедий): уже трудно было отказаться от разъездов, привык везде бывать, все видеть. Однако всегда у меня, помимо театрального искусства, было и другое увлечение: я любил то, что принято называть художественным чтением. К творчеству дикторов я давно уже относился с интересом и уважением. В 1953 году я записался в передаче «Пионерская зорька». И с тех пор довольно часто выступал на радио. Стал всерьез подумывать о смене профессии, однако жаль было бросать сцену. Но вот в 1956 году, когда наш театр был в очередной гастрольной поездке, из Москвы вдруг пришла телеграмма: меня вызывали на дикторский конкурс. Экзамен был выдержан удачно...

— Итак, Вы сменили театр на дикторскую студию, а другими словами, один вид искусства на другой — так правильно будет сказать?

С. Н. Богомолов. Вот видите, в самом Вашем вопросе скрыто недоверие к нашей профессии. Это широко распространенное мнение, многие несерьезно относятся к нашему делу, говорят: подумаешь — читать... Читать-то научить можно,

да кто вас станет слушать? Мы называемся «радиовещание», но смерть наша, когда мы начинаем... вещать! Мы должны рассказывать и обязательно интересно, любую передачу стараться сделать интересной.

В. Н. Балашов. Диктор ведь не бесстрастный озвучиватель текста. Каждую заметку мы пропускаем через свое творческое «я» и тем самым, как нам кажется, обогащаем ее. Кстати, поиски этого своего «я», своего дикторского лица — процесс очень нескорый и непростой. Порою на это уходят годы. Но вот, кажется, нашел: начинаешь звучать по-своему. Здесь тебя поджидает новая опасность: из-за боязни потерять обретенное с таким трудом диктор начинает механически воспроизводить однажды найденную им форму, ведь она когда-то принесла ему успех. Это приводит к тому, что любой материал, который попадает ему в руки, диктор стремится уложить в прокрустово ложе привычной ему манеры. Здесь-то и подстерегает нас формализм!

С. А. Богомолов. Да, диктору необходима подлинная самобытность и простота, естественность и доброта тона. Радиовещание для миллионов, но ты — диктор — должен читать для какого-то одного, вполне конкретного человека. Только в этом путь к успеху. И только тогда тебя услышат те самые миллионы... И еще одно важно: надо входить в «образ текста», надо верить в то, что читаешь.

В. Н. Балашов. И никогда нельзя забывать о творческой основе нашей работы, об артистическом восприятии действительности!

— Скажите, пожалуйста, есть у Вас передачи — любимые, нелюбимые, особо трудные?

С. А. Богомолов. Диктору иметь нелюбимые передачи? Это было бы невольнительной роскошью! В самом деле, я не люблю, а слушатель-то чем виноват?

В. Н. Балашов. Я согласен с этим... И все же нелюбимые передачи у нас есть. Это те, что плохо написаны — штампованно, серо. Такие передачи попадают, к сожалению, во всех жанрах... А порой бывает так: текст как будто хорош, у него



С. А. Богомолов

только один недостаток: он мало рассчитан на то, что его... будут произносить. Впрочем, проблема так называемого радиоязыка требует особого разговора. Теперь о любимых передачах. Одна из них — «В мире слов». Я читал все ее выпуски. За исключением, может быть, двух-трех передач, когда был болен. Нравится мне эта передача по многим причинам. Назову главные. Во-первых, она имеет колоссальный отклик: значит тебя слушают! Во-вторых, она очень по душе мне своей тематикой. Я люблю наш язык, люблю русское слово. С детства слушаю живую русскую речь. А человеком, который помог мне сделать ревнителем родного языка, считаю Л. В. Успенского. «Слово о словах» — это все-таки необыкновенная книга!

С. А. Богомолов. Мне больше по душе передачи очеркового плана.

— Позвольте тогда один частный вопрос. Как следует поступать диктору, если в очерке персонажи говорят на диалекте, употребляют жаргонные словечки и т. п.?

С. А. Богомолов. Ни в коем случае не натурализовать речь, не передавать все буквально. Только намекнуть, но не окать в теле-



В. Н. Балашов

ние получаса. Столь же нелепо выглядел бы и тот тещ, который пытался бы играть собеседников. Следует как бы пересказывать их диалог. А в общем — всего должно быть в меру, и все должно выглядеть так, чтобы при соприкосновении с душою слушателя рождало искры прекрасного. Это необходимое условие любой, даже самой «непритязательной» передачи.

— Скажите, пожалуйста, а Вы знакомитесь с откликами на передачи, которые постоянно ведете? Есть ли среди них письма, адресованные лично Вам? Ведь речь диктора — высокая норма для слушателя.

В. Н. Балашов. Да, письма есть и в наш адрес. Письма разные. Иногда и с замечаниями. Что можно на это ответить? Каждый из нас мечтает, чтобы его произношение было образцом современной правильной русской речи. Но зачастую это лишь мечта.

-- Почему?

В. Н. Балашов. Нередко тексты замечают поступают к нам в весьма неудовлетворительном виде. Плохой стиль, орфографические (точнее, стилистические и грамматические) ошибки, вроде путаницы слов: одел — надел, обоих — обеих и др.

С. А. Богомолов. В большинстве случаев незнакомые названия даны без ударения. Тексты обычно приходят к нам, разукрашенные всеми видами корректорских значков: перетяжки, вставки, вынесения и т. д., да к тому же приносят материалы часто всего за несколько минут до начала передачи. Но разумеется, не все дикторские ошибки зависят от журналистов...

— Как же в таком случае избежать собственно дикторских ошибок?

С. А. Богомолов. Постоянно учиться, совершенствовать свою речь.

— А какими «учебными пособиями» вы, дикторы, для этого пользуетесь?

В. Н. Балашов. Прежде всего словари: словари под редакцией Ожегова и Аванесова. Интереснейшее чтение представляет для меня большой академический словарь — «Словарь современного русского литературного языка» в 17-ти томах. А настольная наша книга — «Словарь ударений для работников радио и телевидения». Без него нашему брату, пожалуй, не обойтись. Правда, есть у этого словаря и один существенный, с моей точки зрения, недостаток, который, впрочем, отражает состояние нашей дикторской речи вообще. В нем — за редчайшим исключением! — нет вариантов. А ведь живая литературная, нормированная речь их позволяет. Можно сказать *иначе*, а можно — *иначе*. Оба варианта верны, но только не для нас! А таких слов многие десятки. И вот мы в некотором смысле становимся, как говорится, католиками большими, чем сам папа. Парадоксальная ситуация!.. Впрочем, у нас, дикторов, на этот счет нет единого мнения. Вот, я знаю, Сергей Александрович в этом вопросе со мной не согласен.

С. А. Богомолов. Да, верно — я не могу с этим согласиться и вот почему. Дикторская речь действительно строга. В ней нет вариантов, но лишь потому, что их и не может быть. В самом деле: как странно мы выглядели бы, если б я, скажем, произнесил *творог*, а читающий вслед за мною Владимир Николаевич Балашов — *творбг*. Радио-

речь должна быть предельно естественной, но и предельно очищенной от всего спорного!

— Итак, два мнения, каждое из которых представляется достаточно основательным. Как же найти истину?

В. Н. Балашов. Держать более тесную связь со специалистами. В первую очередь я имею в виду Институт русского языка. Но, к сожалению, языковеды мало нами интересуются... Или мягче скажем — недостаточно. А ведь в дикторской группе собрано вместе около 70 человек, которые очень хорошо говорят, или, точнее сказать, «произносят» по-русски. Уверю Вас, это большая редкость. И здесь количество несомненно в каких-то формах переходит в качество. А языковедам — им и книги в руки!

С. А. Богомолов. Да, помощь языковедов нам бы действительно пригодилась. И, конечно, ученые помогли бы нам установить истину в некоторых спорных вопросах.

— Наша беседа касается и того, что помогает, и того, что мешает диктору в работе. А каким Вам представляется образ идеального диктора? Кажется, у вас на радио была полемика по этому вопросу?

В. Н. Балашов. Полемики, пожалуй, не было. Просто с некоторых пор изменился самый стиль вещания. Мы окончательно избавились от помпезности, императивности. Сейчас уже просто невозможно читать «поверх головы», читать некоей «миллионной массе». Конечно, диктор — это прежде всего индивидуальность. Но всех нас — советских русских дикторов 60—70-х годов XX века — должно объединять одно неперемutable качество — человечность и доброта нашего искусства. В идеале передача — это рассказ о жизни, душевная, заинтересованная, живая беседа двух верящих друг другу умных людей. Волею судеб диктор выступает в роли некоего учителя. Однако он ни в коем случае не должен быть назойливым. Это гибель для нашего искусства. Лекарство здесь одно — жизнь, заинтересованность ею... На каждую передачу на-

стоящий диктор выходит, как на четкий праздник!

— Вы — известные, опытнейшие и уважаемые всеми дикторы. Пожалуйста, несколько рекомендаций начинающим дикторам.

С. А. Богомолов. Владимир Николаевич в основном уже дал ответ на этот вопрос. Но все же я хотел бы добавить несколько слов. Скажу только о главном: надо воспитывать в себе культуру слова, надо любить русскую речь во всей ее широте. Ни одно слово не плохо. Каждое загорится, поставленное на свое место и хорошо сказанное. Каждое слово, произнесенное вами, должно быть сочным, выразительным. Нельзя конечно «играть» каждое слово, но его необходимо любить и слышать... В то же время надо иметь в виду нечто прямо противоположное: читать текст необходимо помня о главном его направлении. Представьте себе такую ситуацию: вы спешите на работу и вам хочется пить. Вы останавливаетесь перед автоматом «Вода», пьете, а мысленно уже снова в пути. Это же «ощущение» должно быть и во время дикторского чтения: если перед вами рассказ о золотоискателях Чукотки, то не увлекайтесь выделением всевозможной экзотики, как бы хорошо она ни была описана. Главное у вас в данном случае — золотоискатели. А начинающие как раз страдают тем, что у них все — главное. А практически — ничего! Отсюда и смысловая монотонность многих передач местного радио.

И, наконец, последнее: диктор — и не только начинающий — постоянно должен заботиться о расширении своего кругозора. Языкового, художественного, политического. Диктор — гражданин своей страны. И ему доверен ответственный пост!

Вел. беседу С. ИВАНОВ

СЛУЖЕБНОЕ ПИСЬМО

Недавно Издательство стандартов выпустило брошюру П. В. Веселова «Современное деловое письмо в промышленности». Стандартизация языка современной официальной письменной речи рассматривается автором как средство сокращения информационной избыточности, а также как гибкий инструмент повышения культуры языка современной служебной переписки. Книга полезна административным работникам. Хотя в ней речь идет о языке переписки в промышленности, многие ее выводы касаются специфики языка официальной переписки вообще. Мы публикуем статью П. В. Веселова, написанную специально для журнала «Русская речь».

Стандартизация затрагивает все элементы современного служебного письма: внутренний и внешний адрес, первые и заключительные слова письма, порядок слов в предложении, длину предложения, композицию письма и даже его содержание. Стандартизация оправдана с экономической, технической, общественной и языковой точек зрения.

Теория информации заставила по-новому взглянуть на официальную письменную речь. Процесс прочтения письма можно уподобить поиску информации, а стандартные обороты содержательны, так как сигнализируют о смысле в самой обобщенной форме. Без готовых, проверенных долгодетней практикой, широко известных словесных формул невозможно быстро, грамотно и точно отразить ту или иную ситуацию. Уже по начальной фразе «В порядке оказания технической помощи...» мы догадываемся, что в письме будет изложена просьба, и психологически готовы к восприятию соответствующей цепочки слов: с большей или меньшей степенью вероятности мы можем предсказать характер ожидаемой информации.

Многие языковеды и документоведы в стандартных оборотах усматривали бедность языка канцелярской письменности. В связи с этим заслуживает поддержки выступление В. М. Богуславского в защиту делового штампа на страницах «Русской речи» (1968, № 6). П. В. Верховский в монографии «Письменная деловая речь» (М., 1953) справедливо заметил: «Деловые письма — вовсе не материал для „чтения“, а большей частью побудители к определенным поступкам. Недаром в них так много говорится о разных мерах и мероприятиях».

В наши дни стандартизация языка служебной переписки стала жизненной необходимостью в связи с механизацией управленческого труда. Такие операции, как поиск, сортировка, реферирование писем уже на многих предприятиях выполняют-

ся машиной. Для этого необходима жесткая аспектация письма, то есть выявление точки зрения, с которой производится или может производиться поиск. Для служебного письма можно выделить следующие формальные аспекты: внутренний адрес, дата отправки, тема, индексы, характер письма, определяемый по ключевым словам или по названию (гарантийное, договорное, сопроводительное и т. д.). Большинство из этих аспектов формально выделено в уже сложившейся структуре служебного письма. Так, наименование адресата размещается на бланке в виде постоянного заголовка: исходящий номер и дата — в левом верхнем углу и т. п.

Вообще говоря, стандартизация служебного письма должна идти по пути более полной аспектации всего содержания.

Однотипность ситуаций реализуется в виде стандартных выражений. Американский лингвист Л. Блумфильд, рассматривающий речевую деятельность как отражение определенных моделей поведения, пишет по этому поводу: «Ни в каком другом отношении групповая деятельность людей не подвергается столь жесткой стандартизации, как в формах языка» (Язык. Перевод с английского Е. С. Кубряковой и В. П. Мурат. М., 1968). Язык современной официальной переписки — красноречивое подтверждение этих слов.

Статистический анализ служебных писем вскрывает резкие контрасты в частотности употребления слов и оборотов: например, для 250 гарантийных писем 11 слов обладают частотностью, приближающейся к 250; частотность остальных слов выражается в числах менее 10. Отсюда следует, что отдельные слова и обороты должны составлять принадлежность каждого гарантийного письма, что позволяет создать его формальный каркас. В таком случае составление служебного письма можно свести к заполнению бланка. Не поэтому ли принято говорить, что служебные письма не «пишутся», а «составляются»?

Если в содержании современных служебных писем выделить аспекты, то окажется, что каждый из них реализуется в виде набора устойчивых синтаксических конструкций, повторяющихся из письма в письмо.

Так, аспект, выражающий предупреждение, реализуется в виде следующих выражений:

В противном случае дело будет передано в арбитраж.

По истечении ...-дневного срока наше предложение теряет силу.

Аспекту содержания, связанному с мотивацией действий, также соответствует ограниченный набор стандартных выражений:

В порядке оказания технической помощи...

В порядке обмена опытом...

В порядке исключения...

Однако было бы неправильно рассматривать стандартизацию лишь как канонизацию отдельных выражений. На наш взгляд, правильно было бы говорить о стандартизации моделей синтаксических конструкций. Под моделью мы понимаем синтаксическую конструкцию, которая может охватить максимальное количество жизненных ситуаций. В результате процесс составления служебного письма сводится к конкретным реализациям стандартных языковых моделей. Поясним на примере. Моделью предложения, выражающего гарантию, может служить следующая синтаксическая конструкция:

Оплата гарантируется.

Это предложение может быть развернуто:

Оплату гарантируем через отделение Госбанка № ...

И более детально:

Оплату гарантируем через отделение Госбанка № ... в ...-срок по завершении строительных работ.

Гарантироваться может не только оплата, а доставка, высокое качество продукции, возврат оборудования и т. д. Можно предположить такие варианты той же модели:

Возврат станка гарантируем.

Возврат станка гарантируем в исправном состоянии.

Возврат станка гарантируем в исправном состоянии в 10-дневный срок.

Образцом языка для формального каркаса делового письма следует считать телеграфный стиль, характеризующийся предельной сжатостью синтаксических построений. Не случайно в языке официальной переписки распространено «нанизывание падежей», то есть расположение цепочкой одинаковых падежных форм. Например, поначалу прочтение следующего письма напоминает бег с препятствиями: «Направляем Вам акт проверки причины протекания полов душевых помещений бытовок заводительного цеха завода „Прогресс“ для принятия конкретных мер по ликвидации дефектов и сдачи корпусов в эксплуатацию». Однако ни одно звено нельзя вырвать из приводимой цепи слов с родительным приименным.

Для языка служебных писем характерна повторяемость одних и тех же соединительных оборотов и обстоятельственных слов, служащих средством выражения причинно-следственных отношений. Тысячи писем начинаются словами:

В соответствии с ...

В связи с ...

Согласно Вашей просьбе ...

В целях ...

В порядке обмена опытом ...

Служебное письмо излагается либо от первого, либо от третьего лица. К сожалению, еще не все составители писем ощущают

разницу в ситуациях, разрешение которых входит в компетенцию целого предприятия или зависит просто от исполнительности конкретных лиц. Поэтому, как правило, письма составляются от третьего лица, что не всегда оправдано. Между тем эту разницу хорошо чувствуют юристы, которые ввели в обиход понятия «юридическое» и «физическое лицо». В тех случаях, когда нужно подчеркнуть, что исход действия зависит прежде всего от оперативности конкретного лица, его практических действий, автором письма выступает лицо «физическое», и письмо должно излагаться от первого лица в единственном или во множественном числе:

Мы неоднократно обращали Ваше внимание ...

Но вот в качестве автора выступает лицо «юридическое», и письмо излагается от третьего лица:

Министерство высшего и среднего специального образования

Независимо от того, является ли автором письма лицо юридическое или лицо физическое, служебное письмо сохраняет юридическое значение.



Как и всякий официальный документ, служебное письмо отражает сущность общественных отношений. В русских письмовниках дореволюционного времени давались такие «необходимые понятия» для составителя письма: «Первая обязанность пишущего — помнить свое собственное положение, знать положение лица, которому мы пишем, и представлять себе последнего так, как будто мы стоим перед ним и разговариваем» (Е. Крылов. Толковый письмовник. М., 1895).

Современные пособия по коммерческой корреспонденции в условиях частного предпринимательства дают советы по составлению делового письма исходя из социальной сущности письма как чисто коммерческого документа. Говоря о том, что коммерческое письмо должно с первого раза «вызвать интерес», Х. Драч, автор пособия «Американская деловая переписка», пишет: «Просто вызывать интерес — недостаточно. Только такой вид интереса, который вызывает продажу, — настоящий интерес». И та же мысль, но в более откровенной форме: «Бизнесмен, не заботящийся о прибылях, является экономической аномалией».

Советское служебное письмо отражает сущность общественных отношений в социалистическом обществе. Поэтому вопрос речевого этикета в служебной переписке приобретает принципиальное значение. Однако решение этого вопроса далеко не исчерпывается списком традиционных «формул вежливости». Составители служебных писем порой не догадываются, какие потенциальные возможности для выражения этической оценки

действий другой стороны скрываются в такой глагольной конструкции, как залог.

Вы не выполняете моего указания по производству текущего ремонта в сети наружного освещения.

И та же конструкция в страдательном залоге:

Мое указание по производству текущего ремонта не выполняется.

В первом случае невыполнение указания вменяется в вину конкретному лицу. Во втором внимание сконцентрировано лишь на факте невыполнения, а конкретный виновник прямо не назван.

К страдательному залогу прибегают в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть, что факт свершения действия имеет большее значение, чем указание на лицо, совершившее действие. Действительный залог придает повествованию большую силу и живость, употребляют его в тех случаях, когда необходимо указать конкретное лицо как источник предпринимаемых действий:

Завод «Прогресс» не гарантирует качество изделий по истечении 6 месяцев с момента отгрузки.

Главное управление не возражает, чтобы завод «Прогресс» приступил к выпуску самосвалов с ноября месяца.

Несмотря на неоднократные напоминания, завод «Электро-сталь» срывает поставку цветного литья.

Удачно найденное вводное слово, кстати сделанное обособление снимают напряженность тона:

Просим предоставить имеющийся на Вашем предприятии материал.

Эта фраза с вводным словом:

Просим предоставить материал, по-видимому, имеющийся на Вашем предприятии.

Или:

Ваша просьба не может быть удовлетворена по следующим причинам.

К сожалению, Ваша просьба не может быть удовлетворена.

С помощью обособления можно указать на связь с предшествующей перепиской и тем самым передать характер хорошей осведомленности относительно затронутого в письме вопроса:

Как Вам уже известно, мы очень заинтересованы в Ваших станках марки ...

Есть очевидная разница в тоне следующих выдержек, раскрывающих один и тот же факт:

Обещанные Вами трубы мы до сих пор не получили.

Вы сорвали поставку труб, что вызвало ...

И еще более резко:

Вы не сдержали своих обещаний по части поставки труб.

И совсем резко:

Вы не в первый раз срываете поставку труб.

Убедительная сила письма возрастает, если одна сторона даже не допускает возможности, чтобы другая сторона могла сознательно нарушить принятые ранее обязательства. Нет никакого сомнения, что составитель письма не хотел обидеть адресата, воспользовавшись следующей фразой:

Срываются сроки по реконструкции электролитейного цеха. Прошу принять действенные меры.

Разве можно было предположить, что его подчиненный сознательно примет недейственные меры?

Прошу принять решительные меры.

Слово *должны* можно употребить лишь по отношению к подчиненному лицу:

Вы или главный инженер должны присутствовать на совещании.

В такой формулировке фраза звучит как приказ: присутствие на совещании вменяется в обязанность. Не менее убедительно, но более сдержанно это указание звучит в таком варианте:

Присутствие Вас или главного инженера на совещании необходимо.

Необходимость присутствия может быть подчеркнута добавлением указательного местоимения:

Присутствие Вас или главного инженера на этом совещании необходимо.

А со следующим, казалось бы, незначительным изменением в конструкции фразы тон указания приобретает оттенок вежливости:

Присутствие Вас или главного инженера на этом совещании просто необходимо.

В такой редакции чувствуется, что обе стороны хорошо знакомы и только исключительные обстоятельства смогут помешать лицу, которому адресовано письмо, или его коллеге — главному инженеру явиться на совещание.

Оживление непосредственных контактов между промышленными предприятиями делает необходимыми разработку и введение в деловое письмо речевого этикета, этого важного аспекта его содержания.

Размещение строк на внутреннем адресе, использование прописных и строчных букв, кстати сделанное обособление, выбор формы обращения и синтаксических конструкций, соблюдение принципа параллелизма в ответах и запросах — все это различные формы проявления этикета в деловом письменном общении, и каждая из них по-своему необходима.

П. В. ВЕСЕЛОВ

ОТ ЛАЗУТЧИКА ДО РАЗВЕДЧИКА

Слова *разведчик*, *агент*, *шпион*, *лазутчик* обозначают 'лицо, состоящее на службе у одного государства по добыванию тайным образом сведений о другой стране, составляющих государственную тайну этой страны'. В современном русском литературном языке эти слова — синонимы (З. А. Александрова. Словарь синонимов русского языка). Однако своеобразие их заключается в том, что в некоторых случаях они перестают быть синонимами.

Обстоятельства и время возникновения этих слов отражаются на их жизни в языке. Самое старое — *лазутчик*, но теперь оно встречается реже всех остальных. А вот *разведчик* возникло позже других и стало сейчас самым употребительным. На употреблении всех этих слов сказываются изменения, которые претерпевало обозначаемое ими понятие в связи с историей развития разведывательной деятельности.

Слово *лазутчик* было известно еще в древнерусском языке и широко употреблялось не только в XVII, но и на протяжении всего XVIII века, хотя в начале этого века появляется иностранное слово *шпион*, прочно вошедшее в словарный состав русского языка: «А лазутчиков из Великого Новгорода в Литовскую и в Немецкую сторону нарочно для проводыванья всяких Литовских и Немецких вестей не посылатъ, а проводывать торговыми людьми» (Полный свод законов. 1699); «Никто из пленных да не держат письма свои сам запечатывать

и тайным образом оные пересылать... Ежели пленный против сего поступит, то он подобно шпиону почитается или лазутчику, посланному от неприятеля» (Артикул воинский. 1715).

Даже во второй половине XVIII века слово *шпион* ощущалось еще как заимствованное. «Шпионы, по нашему лазутчики», — отмечал В. К. Тредиаковский (Телемахида. 1766). А в XIX веке *шпион* и несколько позднее начавшее употребляться в этом значении также иностранное *агент* получили широкое распространение. Тогда *лазутчик* стало обозначать военнослужащего, в обязанности которого входит собиранье сведений в районе действий противника. «Принадлежность к войску отличает лазутчика от шпиона», — указывалось в Военной энциклопедии (1914).

В современном литературном языке *лазутчик* продолжает жить. Во-первых, для обозначения соответствующего занятия в прежние исторические эпохи: «Из Москвы посланы лазутчики в Нарву и Ревель будто бы для закупки товаров, — им приказано снять планы с этих крепостей» (А. Н. Толстой. Петр Первый). Во-вторых, слово *лазутчик* в своем суженном значении продолжает употребляться в языке военных: «Никогда не спуская глаз с противника, непрерывно ведя разведку, засылая в тыл к фашистам небольшие группы бесстрашных лазутчиков, Кириченко всегда разгадывал замысел вражеских генералов» (Закруткин. Кавказские записки). И, в-третьих, это слово возрождается в современном литературном языке как синоним к *шпион* и *агент*. Чаще его употребляют в книжной публицистической речи. В этом случае оно всегда имеет отрицательно-неодобрительную окраску: «Изменников, диверсантов, вражеских лазутчиков будем уничтожать беспощадно. Но, — Феликс Эдмундович сделал резкий жест, как бы подводя итог сказанному, — незаконных методов следствия не допустим» (сб. «Солдаты невидимых сражений»).

Слово *шпион* вошло в русский язык из немецкого в связи с уси-

лением разведывательной деятельности в период образования в Европе национальных государств. Первоначально это слово употребляется в официальных военных и дипломатических документах, а затем уже входит в разговорный язык. Усиление разведывательной деятельности в странах Европы привело к активизации шпионажа в России со стороны иностранных государств, и слово приобретает осудительно-неодобрительный презрительный смысл.

Таким образом, в официальных кругах сразу же возникает необходимость в обозначении этого понятия словом без отрицательной окраски. И поскольку разведывательная деятельность стала, как правило, вторым, секретным занятием дипломатических агентов, то словом *агент* начали обозначать лиц, профессионально занимающихся этой деятельностью, первоначально используя словосочетания: тайный агент, агент секретной службы.

Различие в употреблении слов *шпион* и *агент* хорошо видно в повести А. И. Куприна «Штабс-капитан Рыбников». Репортер Щавинский, догадавшись, кто такой Рыбников, мысленно называет его только шпионом: «Но если все это правда и штабс-капитан Рыбников действительно японский шпион, то каким невообразимым присутствием духа должен обладать этот человек, разыгрывающий с великолепной дерзостью среди бела дня, в столице враждебной нации, такую злую и верную карикатуру на русского забубенного армейца». Когда же Щавинский говорит о своих предположениях самому Рыбникову, то он уже не употребляет презрительно-отрицательное слово *шпион*, а называет его официальным *агентом*: «— Не бойтесь, я вас не выдам. Вы такой же Рыбников, как я Вандербильт. Вы офицер японского генерального штаба, думаю, не меньше чем в чине полковника, и теперь — военный агент».

С течением времени употребительным становится и еще одно слово — *разведчик*. Его используют в тех случаях, когда речь идет о героических и романтических чертах этой профессии. До этого оно

употреблялось в значении: «разведчик — это разведывающий что-либо, посланный на разведку; лазутчик, соглядатай; сыщик» (Словарь В. И. Даля). В современном языке слово *разведчик* получает широкое распространение как стилистически нейтральное.

Интересно отметить, что если у А. И. Куприна штабс-капитана Рыбникова называют обычными для того времени словами *агент* и *шпион*, то в наше время он уже именуется *разведчиком*: «В зрелые годы много раз перечитывал [Кулешников] повесть Куприна „Штабс-капитан Рыбников“. Он вообще любил читать Куприна, но эта повесть пленила — особенно образ японского разведчика, его перевоплощение в русского пехотного офицера-замухрышку» (Никулин. Мертвая зыбь); «— Ночью боялись проговориться во сне? Как штабс-капитан Рыбников? — Знаю его наизусть, — сказал Громов. — Но Рыбников был разведчик, а я поехал в Ротенбург и превратился в Бринкеля не для разведки» (Шейнин. Военная тайна).

Шпион на фоне слова *разведчик* приобретает еще более сильный отрицательно-презрительный смысл и несколько разговорный характер: «Немало белоэмигрантов выступало в гнусной роли шпионов и террористов, пособников гитлеровцев, наймитов империалистических разведок» (Чапчатов. Герои тайной войны); «— Понимаю... — протянул Кузнецов. — Значит, вы разведчик? — Не старайтесь выглядеть вежливым, мой друг. Ведь про себя вы употребили другое слово: шпион. Не так ли? Кузнецов в знак капитуляции шутливо поднял руки. — От вас ничего невозможно утаить. Действительно, я именно так и подумал. Простите, но у нас, армейцев, эта профессия не в почете» (Лукин. Операция «Дальний прыжок»).

Слово *агент* после появления *разведчик* начинает употребляться преимущественно по отношению к лицам какой-либо страны, завербованным на службу для другой страны: «Германской разведке тогда удалось завербовать сотрудника института, который по мере своих

возможностей начал освещать работу Леонтьева... Но тут возникли новые трудности: советские органы безопасности внезапно арестовали агента, работавшего в институте» (Шейнин. Военная тайна); «Он [Штейнглиц] вспоминал опытных солидных агентов, завербованных в процветающих европейских странах... Они, как и он, видели свое благополучие в сумме, записанной на их счету в одном из иностранных банков. И если они изменяли, то не своим собственным интересам, а своему правительству» (Кожевников. Щит и меч).

Кроме того, агентами часто называют лиц, занимающихся на территории государства, куда они засланы, подрывной и разведывательной деятельностью: террористов, диверсантов, различного рода вредителей и разведчиков. В этом случае *агент* утрачивает синонимические связи со словами *разведчик* и *шпион*: «Кутепов собирался усилить посылку своих людей в Россию, иначе говоря, заполнить „Трест“ своими агентами-диверсантами и террористами. Этого нельзя было допустить» (Никулин. Мертвая зыбь).

В работах о деятельности каких-либо разведывательных органов слова *разведчик*, *агент*, *шпион* употребляются как полные синонимы с целью избежать частого повторения одного и того же слова, разнообразить изложение. При этом поскольку для обозначения разведывательных органов используется слово *разведка*, с ним обычно употребляются слово *агент*: агент (иностранной, капиталистической и т. п.) разведки — «„Мэтр“ руководил значительной группой немецких шпионов, которых он посылал во Францию. Он даже создал в Берне небольшую тайную школу, в которой обучались его будущие агенты. Именно „мэтр“ сообщил сведения о 21 французском разведчике, которые были схвачены и казнены немцами» (Черняк. Пять столетий тайной войны); «В Швейцарии были арестованы израильский разведчик Бен-Гал, выдававший себя за чиновника министерства образования и культуры Израиля, и завербованный им австриец Йеклик... шпионы были арестованы

в момент шантажа другого специалиста Герке. В Египте были арестованы и осуждены агенты израильской разведки из числа западногерманских специалистов — супруги Лотц» («Неделя», 1968, № 48).

К указанному синонимическому ряду примыкает производное от *агент* слово *агентура* в собирательном значении: «По плану, Субботин сам должен был напроситься работать по подготовке русской агентуры. Так или иначе, теперь план требовал от него добросовестно, не вызывая ни малейшего подозрения, работать, а когда начнется забороска агентов, предупредить об этом своих» (Ардаматский. Ответная операция), «Я много знаю, я работал с англичанами, всю войну консультировал агентуру по русским делам в известном вам немецком разведоргане» (сб. «Солдаты невидимых сражений»).

Все рассмотренные слова имеют интересную особенность: в их употреблении проявляется отношение говорящего к лицам данной профессии в зависимости от того, приносят они пользу или вред, с точки зрения говорящего.

Слова *лазутчик*, *агент* и даже презрительное *шпион* употреблялись как по отношению к лицам, состоящим на службе у разведывательных органов России, так и по отношению к лицам, занимающимся преступной деятельностью против Русского государства. Несмотря на это, разное отношение к лицам этой профессии, в зависимости от службы своему или чуждому государству, существовало всегда. В «Новом словотолкователе» Н. М. Яновского (1806) дана крайне отрицательная, уничижительная характеристика слову *шпион*, однако там же отмечается, что тот, кто служит «„на пользу государства“, тот едва ли не должен быть почитаем весьма полезным гражданином». Но разграничено это понятие не было, так как, несмотря на разное отношение к разведывательной деятельности, оно оставалось по своей сущности тем же. «Всякий шпион, пойманный в стаях, им разведываемом, и избалованный в сношении с неприятелем, осуждаем бывает без отла-

гательства и без всякой формы суда на виселицу», — говорится в этом же словаре.

Слово *разведчик* также употребляется по отношению к лицам этой профессии независимо от того, на службе какого государства они состоят (своего, иностранного союзного, иностранного враждебного): «Условия работы и обстановка в капиталистических странах обязывают разведчика постоянно быть бдительным. Преданность своей Родине, честность и дисциплинированность, самоотверженность, находчивость, умение преодолевать трудности и лишения, скромность в быту — таков далеко не полный перечень требований к деловым, политическим качествам советского разведчика» (сб. «Солдаты невидимых сражений»); «Старый разведчик и старый наци, он когда-то занимал видное положение, а сейчас занимался учетом интересующих разведку людей» (Егоров. Заговор против «Эврики»); «Открытие разведчика, сообщение о котором иногда умещается на спичечном коробке, порой влияет на судьбы государств и народов» (Кожевников. Щит и меч).

С появлением Советского государства деятельность разведчика стала осуществляться в интересах единственной в мире социалистической Родины, оказалась направленной на защиту интересов государства народного. Так возникает совсем новое понятие об этой профессии, существование которой в стране социализма объясняется необходимостью заботиться о безопасности государства и всего народа. Советские люди работают в этой профессии не в корыстных целях, а сознательно, в силу патриотического стремления защищать правое дело, интересы Отечества трудящихся.

Новое отношение к этому занятию в странах социализма выражается в том, что слова *шпион*, *лазутчик* (в его неодобрительно-отрицательном значении) и *агент* перестают употребляться для обозначения лиц, работающих в разведывательных органах социалистических государств. У известного советского разведчика Рихарда Зорге есть такое высказывание: «Мы совершенно

отличаемся от того значения, которое обычно приписывается слову *шпионы*» (сб. «Солдаты невидимых сражений»). С другой стороны, слово *разведчик* никогда не употребляется в речи советских людей по отношению к гражданам советского и других социалистических государств, работающих на службе у иностранных разведок: «Они [американские власти] не дают окончательного списка советских людей, по тем или иным причинам оказавшихся в их зоне... как мы уже точно знаем, они стремятся навербовать из числа этих лиц шпионов и диверсантов» (Шейнин. Военная тайна); «Разведчики Мажура и Бушнин, вернувшись однажды из Ровно, доложили, что им удалось нащупать агента гестапо» (Медведев. Сильные духом).

Таким образом, в настоящее время существует два самостоятельных понятия: 1) лицо, занимающееся данной деятельностью в капиталистических государствах и в дореволюционной России и 2) лицо этой профессии, состоящее на разведывательной службе у социалистических государств.

О двух значениях слова *разведчик* свидетельствует распределение по синонимическим группам слов с этим значением. Для обозначения первого понятия употребляется ряд: *разведчик*, *агент*, *шпион*, *лазутчик*, то есть в этом случае *разведчик* имеет синонимы. Для обозначения второго понятия употребляется только одно слово — *разведчик*, и синонимов к нему нет.

Особое место по отношению к рассматриваемым словам занимает слово *резидент*. Оно обозначает руководителя разведки в каком-либо районе иностранного государства. Однако в последнее время это слово начинает употребляться для обозначения вообще разведчика, работающего длительное время на территории иностранного государства обычно под личиной гражданина этого государства или гражданина нейтрального государства (во время войны).

Такое употребление слова *резидент* позволяет включать его в синонимический ряд рассматриваемых

слов с указанным отличием в значении: «Лишь немногие знали, что под фамилией Массино скрывается Сидней Джорж Рейли — видный агент Интеллидженс Сервис» (Никюлин. Мертвая зыбь); «Однажды он получил кодированное письмо от своего коллеги по Интеллидженс Сервис, резидента в одной из прибалтийских стран» (там же); «Поверил в „Трест“ и столь опытный разведчик, как Сидней Рейли» (там же); «[Второе бюро во Франции] составило длинный список подозрительных, в который, как выяснилось, входило много наиболее активных германских шпионов. Однако в отличие от Англии, где немецких агентов захватили сразу в начале войны, французские власти воздержались от ареста лиц, включенных в этот список. Может быть, эта робость в отношении резидентов немецкой разведки, лишь ожидавшей сигнала для начала действий, была результатом „друзей“ Мата Хари. Она же могла и доставлять информацию, собранную особо доверенными немецкими агентами» (Черняк. Пять столетий тайной войны).

Большая роль в разведывательной работе принадлежит женщинам. В связи с этим возникают и производные слова женского рода — *разведчица*, *шпионка*, *агентка*, *лазутчица*, которые в основном употребляются соответственно производимым словам мужского рода. Различие состоит только в том, что слово *лазутчица* не получило распространения в языке, а *агентка* имеет разговорный характер, обычно по отношению к женщинам употребляется слово *агент*: «Несомненно, что успехи Мата Хари как шпионки крайне преувеличены... Мата Хари была совершенно несведуща в военных вопросах и уже по одному этому не являлась такой крупной разведчицей, какой ее рисует легенда» (Черняк. Пять столетий тайной войны); «„Роковые красавицы“ несравненно реже встречались среди агентов разведки, чем на страницах бесчисленных бульварных романов о шпионах. Но все же встречались. Это были специально отобранные, тщательно обученные

агенты, которым поручалось проникать в высшие слои общества, в правительственные сферы той или иной страны, чтобы, используя распущенность нравов и продажность буржуазных и аристократических верхов, добывать особо важную информацию» (там же); «Фрейлейн Ангелика ставит важные вопросы о принципе подготовки женской агентуры... Штейнглиц, наливая себе коньяк, сказал озабоченно: — Баба-агентка» (Кожеников. Щит и меч).

Для слова *резидент* пока еще нет соответствующего слова женского рода.

Кандидат филологических наук
Е. А. ИВАННИКОВА
Ленинград

ШОФЕР, ВОДИТЕЛЬ: КТО ПОВЕДЕТ МАШИНУ БУДУЩЕГО?

Изобретение одного из видов «самодвижущегося экипажа» явилось причиной рождения слов *автомобиль* (см.: «Русская речь», 1969, № 5), а также и *автомобилист*, *шофер* и др. Они были образованы и стали употребляться во французском языке с конца XIX века. В первой четверти XX века русский язык заимствует из французского сначала слово *автомобилист*, а затем и *шофер*.

Автомобилист первое время употреблялось только в значении 'тот, кто управляет автомобилем'. Так, например, в «Автомобильном спутнике» (СПб., 1914) было напечатано: «Русские автомобилисты, принимая заграничные путешествия на автомобилях, уже оплаченных в России таможенной пошлиной, получают при выезде так называемые „вывозные свидетельства“».

Позднее автомобилистами стали называть и спортсменов, выступающих в гонке на автомобилях, и лю-

дей, занятых в автомобильной промышленности, и просто владельцев машин. В современном русском языке для каждого из этих понятий существуют варианты словоупотребления: автомобилист-спортсмен, автогонщик, автомобилестроитель, автолюбитель.

Появляется новая профессия, связанная с вождением автомобиля. Как же ее назвать? Казалось бы, лучше слова *автомобилист* и не придумаешь. Однако это слово в то время уже было «отдано» любителям автомобилизма. Требовалось же слово для обозначения профессионала. И было найдено: *chauffeur* — оно собственно уже существовало во Франции и обозначало как раз человека, работающего на автомобиле. Первоначальное его значение — «источник, кочегар»: ведь первый автомобиль был паровым, «шаровая телега» — так иногда называли его. Приходилось разжигать топку и поднимать давление пара.

В русский язык слово *шофер* было заимствовано в значении «тот, кто водит автомобиль». Интересно отметить, что в «Словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка», составленного А. И. Чудиновым (СПб., 1902), приводится слово *шофферы* «педаль на автомобиле». Видимо, русскому языку конца XIX века слово *шофер* в значении «тот, кто водит автомобиль» было еще неизвестно. Действительно, в книге Н. Песоцкого «Самодвижущиеся экипажи» (СПб., 1898) читаем: «При езде с экипажем кучер (машинист, кондуктор) должен постоянно иметь при себе разрешение на движение экипажа, а также свой собственный билет на право езды». Но слово *кучер* известно в русском языке с XVIII века и употреблялось только в значении «человек, управляющий лошадьми, впряженными в повозку». Вот поэтому-то из французского языка заимствуется слово *шофер*.

Обрусение его происходит в 20—30-е годы XX века. В это время равно употребляются *автомобилист* и *шофер*. Слово *шофер* пишется с двумя или с одним *ф*. Так, в названном «Автомобильном спутнике» читаем: «Каждый автомобилист обя-

зан подать помощь своему собрату, просящему ее... В случае остановки автомобиля из-за расходования бензина, шоффер, к которому обратятся за помощью, должен дать просящему бензина из излишнего своего запаса». Написание *шоффер* сохраняется до конца 30-х годов. В журнале «Экран» (1925, № 36) В. Маяковский публикует первый из очерков о поездке в Мексику и Соединенные Штаты: «По мексиканским законам шоффер не отвечает за раздавленных им».

В литературном языке и разговорной речи слово *шофёр* употребляется с ударением на последнем слоге. Между тем в просторечии ударение перешло на первый слог. Это неправильно. Не следует также во множественном числе употреблять форму *шофера*, так как в словах французского происхождения с ударением на суффикс *-er* это ударение сохраняется и при образовании форм множественного числа *шофёры*, так же, как *актёры*, *ажушёры*, *гастролёры*, *гримёры*, *режиссёры*.

Все, вероятно, обращали внимание в автобусе на объявление такого рода: «У кабины водителя не стоять!», «Дверь открывается водителем» и др. Почему употребляется слово *водитель*, а не *шофер*? Может быть, прав К. И. Чуковский, написав в книге «Живой как жизнь», что «в наши дни происходит обрусение слов и иностранное слово *шофер* заменилось словом *водитель* (правда, еще не везде)?»

С выпуском новых типов автомобилей специального назначения появилась необходимость в словах для названия новых специальностей. Наряду с *автомобилист* и *шофер* тех, кто водит машину, называют: «лицо, управляющее автомобилем (мотоциклом)»; «управляющий автомобилем (мотоциклом)»; «управляющий» и др.

Так, например, в «Основных положениях, касающихся порядка движения, пользования автомобилем, мотоциклом и велосипедом в СССР» (Л., 1924) было напечатано: «Управляющий автомобилем или мотоциклом не должен оставлять машины. Если является необходимость оста-

вить автомобиль, то управляющий может это сделать лишь при условии полного заторможения машины, остановки мотора».

Однако слово *управляющий* опять-таки уже употреблялось в нескольких значениях. И вот в 30-е годы появляется слово *водитель*. В учебном пособии Е. П. Афанасьева «К экзамену на шофера» (Краснодар, 1928) читаем: «Водитель автомобиля не должен оставлять машины. Если явится необходимость оставить автомобиль, то водитель может это сделать лишь при условии полного заторможения машины».

Слово *водитель* было взято из словарного состава русского языка и стало употребляться в новом значении 'тот, кто ведет движущийся транспорт, управляет им'.

В русском языке появляются словосочетания: водитель машины, водитель трактора, водитель танка, водитель троллейбуса, водитель самосвала, водитель бульдозера, водитель мотоцикла, водитель мотороллера и др. В одном случае они имеют лексический вариант, в других — нет (ср.: водитель такси — таксист, водитель бульдозера — бульдозерист, водитель трактора — тракторист, водитель мотоцикла — мотоциклист и т. п., но: водитель троллейбуса, водитель мотороллера).

Слово *водитель* в значении 'тот, кто ведет движущийся транспорт, управляет им' получило довольно широкое распространение. Оно встречается на страницах газет и журналов, звучит по радио. В 1950 году Государственной премии был удостоен роман А. Рыбакова «Водители». *Водитель* в целом ряде случаев несет особую стилистическую нагрузку, особенно в художественной литературе, статьях, очерках, репортажах: «— Опять Катерина Матвеевна! — Механик остался против нее. — Гляжу, ведет ко мне этого шофера. Водителя. — Он произнес это слово, по-особенному приподняв губу. — Я так и думал сначала — с женихом идет» (Дудинцев. Лыжный след). Слово *водитель* часто обозначает видовое понятие, а *шофер* употребляется в более узком и определенном значении 'водитель автомобиля'.

В повседневной речи часто допускают замену слова *шофер* на *водитель*. Например: шофер такси и водитель такси, шофер автобуса и водитель автобуса: «— Я двадцать три года прожил в Ленинграде. Работал шофером такси» (Оффин. Граждане пассажиры); «Среди них — слесари, токари, наборщики, помощники печатника, электрики, повар, водители такси» (Разоренов. «Сверстники» приглашают); «— Машина как машина. — Специально для шоферов первого класса» (Рыбаков. Водители); «— Конечно, — продолжал Демин, опять опуская глаза, — Петр Андреевич — водитель первого класса» (Рыбаков. Водители). В официально-деловой речи профессии тех, кто водит транспорт, строго разграничены: того, кто водит автомобиль, называют шофером, а кто водит троллейбус, мотоцикл, мотороллер, — водителем.

Такое разграничение проводится в документах: «1-му автобусному парку требуются шоферы 1, 2 и 3 класса», «Троллейбусному парку требуются водители троллейбусов» (из объявлений о приеме на работу). В «Правилах пользования автобусами городских и пригородных сообщений г. Ленинграда» употребляется слово *шофер*, в «Правилах пользования троллейбусом в г. Ленинграде» — *водитель*. Человек, работающий на автомобиле, имеет права шофера; работающий на троллейбусе — права водителя троллейбуса.

Со времени изобретения первого автомобиля прошло много лет. Изменился вид автомобиля, изменились и слова, называющие человека, который управляет автомобилем.

Наш верный друг — автомобиль продолжает совершенствоваться, видоизменяться. Трудно даже себе представить, каким он станет через несколько десятков лет. Вероятно, тогда появятся и новые слова для обозначения человека, управляющего таким автомобилем. Возможно, названия профессий окажутся составными и одной из частей будет слово *водитель*.

кандидат филологических наук
В. П. СЕРГЕЕВ,
Ленинград

ИНФИНИТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОТРИЦАНИЕМ

Такие предложения, как «Ему не спать», «Ему не уснуть», «Не цвести цветам», «Прошлого не вернуть», «Туда не проехать», «Ему туда не ехать», обычно называются инфинитивными отрицательными предложениями, выражающими разные модальные значения (долженствование, необходимость, невозможность, неизбежность и т. п.), которые трудно разграничить, поскольку они нередко переплетаются. Анализ приводимых в учебных пособиях примеров показывает, что под общим названием «инфинитивные отрицательные предложения» объединяются предложения, различные по модальным значениям и грамматической структуре.

Действительно, при рассмотрении таких предложений в контексте легко обнаружить, что они могут выражать невозможность, неизбежность, обязательность и т. д. совершения действия. Рассматривая такое предложение вне контекста, замечаешь, что очень трудно, а часто и вообще невозможно определить, какое из этих значений в нем выражено. Например, какое значение — неизбежности, невозможности, обязательности, долженствования или какое-то еще — является основным в предложении «Ему не читать»? На этот вопрос без учета ситуации, в которой данное предложение употреблено, ответить нельзя. На вопрос же, какое значение выражается в предложении «Ему не прочитать», можно уверенно ответить — значение невозможности совершения действия.

Уже первое сравнение предложений «Ему не читать» и «Ему не прочитать» показывает, что они различаются тем, что в первом используется инфинитив несовершенного вида, а во втором — совершенного. Следовательно, можно сказать, что именно совершенный вид глагола предопределяет значение невозможности совершения действия. На этот факт обращают внимание А. А. Бойко («Ученые записки ЛГУ. Серия филологических наук». Вып. 15. 1952) и Э. М. Тулапина («Русская речь», 1969, № 1). Но только ли наличием инфинитива совершенного вида и зависящим от него значением невозможности отличается предложение «Ему не прочитать» от предложения «Ему не читать»? Для ответа на этот вопрос рассмотрим оба типа предложений.

1. Предложение «Ему не читать» с грамматической стороны включает в свой состав имя в дательном падеже, отрицательную частицу *не*, инфинитив несовершенного вида. Одинаково ли необходимы здесь все эти три элемента? Абсолютно необходимо, разумеется, инфинитив, без которого нет

и самого инфинитивного предложения. Без имени в дательном падеже подобные предложения в современном русском языке иногда встречаются, но это возможно только в определенной ситуации или контексте. Таким образом, наличие дательного падежа имени тоже необходимо. Частица *не* вносит значение отрицания, но обязательна ли она? Ведь наряду с предложением «Ему не читать» возможно и предложение «Ему читать». В современном русском языке такие предложения широко употребляются. Сравним утвердительные и отрицательные предложения с инфинитивом несовершенного вида. Для того чтобы исключить влияние контекста, интонации, лексического состава и т. д., сначала рассмотрим наиболее простые конструкции, различающиеся только наличием и отсутствием частицы *не*:

I
 Ему читать.
 Ей спать.
 Вам ехать.

II
 Ему не читать.
 Ей не спать.
 Вам не ехать.

Кроме наличия (отсутствия) частицы *не* эти предложения с грамматической стороны ничем не отличаются друг от друга. Можно сказать, что они имеют одинаковое грамматическое строение. Со стороны значений эти группы предложений тоже однородны: действие в них отнесено к будущему, а различаются они лишь значением отрицания в предложениях второй группы. В таком случае можно сказать, что частица *не* не обязательна для построения минимального предложения с инфинитивом несовершенного вида, то есть она здесь не изменяет грамматический строй предложения. При распространении такого минимального предложения значения слов и контекста могут влиять на общее значение предложения, накладывая дополнительные оттенки: неизбежности, обязательности, долженствования и т. д. Например: «Ему еще коня поить» (прибавилось долженствование или необходимость); «В воскресенье ему не бежать в школу» (отрицание необходимости); «Больше уж ему не петь» (неизбежность). Очень часто конкретное значение такого дополнительного модального оттенка может быть выяснено только при рассмотрении данного предложения в условиях ситуации или контекста:

«А кто другой раз отойдет, тому — Хорошо, что в Саратов нам не живым не быть» (Симонов. Солдата-заходить) (Рыбаков. Екатерина Воронина).

Таким образом, предложения с инфинитивом несовершенного вида могут быть как отрицательными, так и утвердительными. Наличие или отсутствие отрицания зависит в них от выражаемой в предложении мысли, сама же отрицательная частица *не* входит в состав минимальной структуры предложения (схемы). Интересно также, что в распространенном предложении с отрицанием частица *не* может соединяться с любым словом:

Ему завтра дежурить в школе.
 Ему завтра не дежурить в школе.

Не ему завтра дежурить в школе.
 Ему не завтра дежурить в школе.
 Ему завтра дежурить не в школе.

При перемещении отрицания значение того, что действие совершится в будущем, сохраняется, но происходит перемещение логического ударения и меняется интонационный рисунок фразы. Предложения с таким перемещением отрицания обычны в обиходно-разговорной речи. В языке

художественной литературы нередко встречаются такого рода предложения с отрицанием перед именем в дательном падеже: «Рад, что мы поняли друг друга... Не мне вас предупреждать, что нелегко будет» (Горчаков. Последний выстрел); «Дело мы открыли, а закрывать его не нам» (Герасимов. Круги на воде).

2. Предложение «Ему не прочитать» выражает значение невозможности совершения действия и состоит из имени в дательном падеже, отрицательной частицы *не* и инфинитива совершенного вида. Инфинитив здесь обязателен. Необходимо и употребление имени в дательном падеже. Без дательного падежа такие предложения возможны только в определенной речевой ситуации.

Отрицательная частица *не* в таком предложении не вычленяется; в современном русском языке нет предложений типа «Ему прочитать» со значением невозможности или возможности осуществления действия.

Сопоставим теперь минимальные предложения с инфинитивом совершенного и несовершенного вида:

I	II
Ему (не) читать.	Ему не прочитать.
Ей (не) спать.	Ей не уснуть.
Вам (не) схать.	Вам не доехать.

В предложениях первой группы мы заключили частицу *не* в скобки, чтобы показать, что она свободно вычленяется, не изменяя грамматического строя предложения. В предложениях второй группы частица *не* обязательна! Различаются эти группы предложений и по значению. Предложения первой группы обозначают, что действие произойдет в будущем. Как во всех инфинитивных предложениях, в предложениях второй группы тоже есть это значение, но на него накладывается еще значение невозможности. Именно оно и является основным, так как зависит не от контекста или каких-то слов, распространяющих предложение, а предопределяется структурой самого предложения (обязательное наличие частицы *не* и инфинитива совершенного вида):

«Все равно нам здесь больше не жить, завтра вперед пойдем» (Симон. Солдатами не рождаются).	«...мне без Наташки, кажется, не прожить на белом свете» (Александров. Кожаные перчатки).
---	---

В предложениях с инфинитивом совершенного вида частица *не* имеет постоянное место — она стоит перед инфинитивом и не может перемещаться к другим словам.

Таким образом, предложения с инфинитивом несовершенного вида и предложения с инфинитивом совершенного вида различаются по выражаемым ими значениям и по характеру грамматической организации фразы. Предложения с инфинитивом несовершенного вида обозначают, что действие произойдет в будущем и имеют утвердительную и отрицательную формы. Предложения с инфинитивом совершенного вида характеризуются значением невозможности совершения действия. Они могут быть только отрицательными, причем отрицательная частица имеет в предложении постоянное место — перед инфинитивом.

К. В. ГАБУЧАН,
преподаватель Высшей партийной школы

ПИСЬМА ИЗ ШКОЛ

Обсуждаем статью А. В. Текучева
(«Русская речь», 1970, № 2)

1

Статья действительного члена Академии педагогических наук СССР А. В. Текучева «Ошибки бывают разные» посвящена не только анализу характерных ошибок. Она говорит о критериях грамотности и о тех путях, которыми надо идти, чтобы эту грамотность повысить. Проблемы эти волнуют многих. Но, пожалуй, я не ошибусь, если скажу, что особенно заинтересованно к этому отношению учителя, так как именно в школе ученик постигает «бездну премудрости» и становится либо грамотным (на всю жизнь сохраняя благодарность учителям!), либо безграмотным — и тогда начинается мучительное самообразование.

Трудно требовать сейчас абсолютной грамотности — здесь А. В. Текучев совершенно прав. Но каковы границы допустимой «относительности»?

Мне кажется, невозможно составить «свод правил, которые можно забыть». Во-первых, он будет бесконечно субъективен, а во-вторых, послужит не повышению грамотности, а снижению требований к ней. А. В. Текучев приводит перечень того, «чему должна служить школа». Остановимся на тех требованиях, которые предъявляются в статье школе.

Одно из них: «письмо учащихся должно быть понятным тому, для кого оно предназначено, легко читаться, не толкать к различному пониманию написанного». Далее приведены примеры такого недопустимого смешения написаний: полоскать — поласкать; балл — бал; тушь — туш; компания — кампания. Но дело в том, что слова эти непонятны лишь вне текста. Представим себе такую фразу: «Я с кампанией друзей сидел в избе, а мать пошла на речку поласкать белье. Вдруг раздался громкий плач». Смысл фразы совершенно ясен, несмотря на ее «вопиющую» орфографию!

Следовательно, критерий «письмо учащихся должно быть понятным» весьма неясен.

Выдвигая положение «учить не всему одинаково», автор пытается установить перечень правил, которым можно не учить: «ис-

ключение из правил вообще не следует принимать во внимание при оценке письменных работ учащихся». Но какой это соблазнительный путь и для учащихся и для учителей! К чему дополнительные занятия, индивидуальные задания, работа над ошибками?! Облегчение? — Конечно! Но вот, как оно будет выглядеть на практике: только по теме «Чередование гласных корней» мы исправим, но не посчитаем ошибкой такие написание: сочитает, отрость, растовщик. Мы должны будем «простить» написание: «Пушкин в поэме „Цигане“»; приданное и смышленный; ципленок и ции!

И все-таки какая же «относительная грамотность» приемлема? Вопрос это сложный. Но ясно одно: пути к ее достижению не могут быть связаны со снижением требований.

Одним из частных, но существенных вопросов в этой проблеме я считаю вопрос, поднятый А. В. Текучевым, — о том, что ученик должен знать три-четыре тысячи слов, не подводимых ни под какое правило. Хочу только внести уточнение: при этом совершенно необходимо установить минимальный обязательный перечень этих слов для каждого класса, иначе запас таких слов у школьника находится в прямой зависимости от его учителя. А уровень знаний и умений у нас, учителей, весьма различен и порой не тот, который необходим.

Кроме того, «кустарщина» и «самодеятельность» преподавателей в отборе таких слов ставит в весьма затруднительное положение ученика, когда он попадает в другую школу или переходит к другому учителю.

В борьбу за грамотность необходимо включить учителей других предметов. А. В. Текучев приводит в своей статье слова, в написании которых учащиеся не делали ошибок, хотя слова эти специально не отработывались. Но весь секрет в том, что они часто встречаются на уроках по другим предметам: агент, трибуна, реформа — на уроках истории; автор, реплика — на уроках литературы; трасса, интенсивный, стратосфера — на уроках географии и т. д. Слов, на которые преподаватели-нерусисты могли бы обратить внимание ребят, достаточно много. Я уж не говорю о психологической стороне вопроса: на любом уроке ученик должен помнить, что преподаватель постоянно внимателен к его письму. Это тоже очень важно!

Наконец последнее. Учитель школы очень хорошо «знает», кого считать грамотным, а кого нет. Сделал четыре ошибки — грамотный, получай «тройку». Сделал шесть ошибок — неграмотный, сиди второй год, «расти». Знает он и Приказ о нормах оценок письменных работ по русскому языку, по которому определяется характер грубых ошибок и не очень грубых. И все-таки оценка знаний успевающего ученика по системе из трех баллов — посредственно, хорошо, отлично — кажется весьма приблизительной. По современным масштабам это слишком грубые веса. Не пора ли

дать учителю возможность более тонко и справедливо отмечать успехи своих учеников на пути к достижению абсолютной (!) грамотности? Впрочем, от этого выиграли бы не одни только учителя русского языка.

*И. А. ЛИЗОГУБОВА,
заслуженная учительница РСФСР*

2

Чувство языка пробуждается у детей в разном возрасте: у одних — в более раннем, у других — позднее. Иногда ученик в 5—8 классах пишет еле-еле на тройку, а в старших классах, когда он по-настоящему изучает литературу, почти не допускает орфографических ошибок в сочинениях. То же и с пунктуацией. Некоторые сложные случаи употребления знаков препинания (двоеточия, точки с запятой, тире) усваиваются лишь в более зрелом возрасте по мере общего развития человека.

Мы согласны с А. В. Текучевым и в том, что школа должна развивать орфографическую грамотность учащихся, имея в виду три основных принципа: 1) понятность письма, 2) соблюдение при письме норм грамматического строя русского языка, 3) умение ученика написать три-четыре тысячи непроверяемых слов.

Однако отдельные положения статьи вызывают у нас, как у учителей, определенные опасения. Например, отказ от запоминания некоторых исключений (оловянный, стеклянный, цыган и др.) приведет к снижению требований в объеме программы. А этого допускать нельзя.

Что касается суффикса *-ечк-* — *-ичк-* в именах собственных, то ошибки такого рода учитывать не надо, тем более, что учащиеся часто сталкиваются с разными написаниями в печати.

Основная задача школы, а особенно учителей русского языка, состоит не только в том, чтобы дать учащимся прочную основу орфографических навыков, но и в том, чтобы повышать их общую культуру, общее развитие. А это в свою очередь будет способствовать развитию орфографического чутья.

*Л. Н. АБРАМОВИЧ, Н. А. БАСОВА,
Е. Н. БУЛГАКОВА, В. А. ЗАЩИРИНСКАЯ,
Г. П. МАКСИМКИНА, Т. М. ФЕДОСЦОВА.*

Рига

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ СЛОВ

Читая произведения классиков русской литературы, мы иногда не подозреваем, что некоторые слова они употребляли совсем не в том значении, в каком употребляем их мы. Возьмем строки из «Евгения Онегина» Пушкина:

Зачем у вас я на примете?
Не потому ль, что в высшем свете
Теперь являться я должна;
Что я богата и знатна,
Что муж в сраженьях изувечен,

Что нас за то ласкает двор?
Не потому ль, что мой позор
Теперь бы всеми был замечен,
И мог бы в обществе принести
Вам соблазнительную честь?

Эти строки кажутся ясными и понятными. Все слова знакомы, употребляются и в современном русском языке. Слово *соблазнительный* в современном языке означает ‘желанный’, ‘заманчивый’, ‘прельщающий’, и отрывок, казалось бы, надо понимать так: позор Татьяны мог бы принести Онегину заманчивую, желанную честь. Но такое понимание неправильно. Дело в том, что в пушкинскую эпоху слово *соблазнительный* употреблялось и в другом значении — ‘относящийся к соблазнителю’. Таким образом, позор Татьяны мог бы принести Онегину не соблазнительную честь, а честь *соблазнителя, повесы*.

Вот другой пример употребления Пушкиным слова *соблазнительный* в таком же значении: «Капитан Байрон, сын знаменитого адмирала и отец великого поэта, навлек на себя соблазнительную славу. Он увез супругу лорда Carmarthen и женился на ней тотчас после ее развода» («Байрон», 1835).

Таким образом, если мы будем знать, как менялись значения слов с течением времени, то лучше поймем произведения недавнего прошлого. А как узнать старое значение слова? В этом помогают комментарии, которыми обычно сопровождаются издания произведений классиков. Комментарии надо внимательно читать.

Еще два примера из Пушкина. Школьникам, очевидно, хорошо знакомо слово *рогатка*. Но вот мы встречаем его в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях»:

Так и так. Царица злая,
Ей рогаткой угрожая,

Положила иль не жить,
Иль царевну погубить...

Может быть, царица угрожает стрелкнуть в Чернавку из рогатки? Нет, конечно. *Рогатка* в данном случае означает 'железный ошейник с длинными остриями, надевавшийся в старину на шею заключенным, колодникам'. Царица, следовательно, угрожала посадить Чернавку в темницу.

Слова *мечта*, *мечтанье* тоже могли выражать раньше иные понятия — 'сон, сновиденье'. Не зная этого, трудно понять строку из «Цыган»:

Я видел страшные мечты
или из «Евгения Онегина»:

Ее тревожит сновиденье,
Не зная, как его понять,
Мечтанья страшного значенье
Татьяна хочет отыскать...

На протяжении многовековой истории языка слова меняют свои значения. Эти изменения изучает специальная отрасль языкознания — историческая лексикология.

Почему же меняются значения слов?

Часто это объясняется изменениями в самой жизни. Появление новых предметов, профессий, понятий вызывает переосмысление старых слов. Например, после Великой Октябрьской социалистической революции новые значения возникли у таких слов: комиссар, секретарь, бригадир, директор, палата, указ, ферма, знатный, династия, мещанин; позднее *спутник* и многих других. Бригадиром, к примеру, назывался в старину военный чин выше полковника (вспомним название комедии Фонвизина), а в современном языке — 'руководитель бригады, производственной группы'.

Слово *знатный*, имевшее значение 'принадлежащий к знати, аристократии', теперь означает 'известный, выдающийся' (знатный шахтер, знатный комбайнер).

Существуют и другие причины изменений слов. Среди них — развитие метафорических (переносных) наименований, основанное на сходстве одних предметов с другими. Например, *нос* человека и *нос* парохода находятся впереди, *нога* человека и *ножка* стула — внизу, *горло* человека и *горлышко* бутылки образуют верхнюю и узкую часть и т. д.

Довольно распространено изменение значения от конкретного к отвлеченному, абстрактному: глагол *обязать* раньше значил то же, что и *обвязать*; *презирать* — 'смотреть мимо кого-нибудь, не смотреть на кого-нибудь'; *предложить* и *предположить* означали 'положить что-либо перед кем-либо'; *представить* — 'поставить перед чем-либо'; *подржать* — 'идти той же дорогой, что и кто-то другой' и так далее.

Многие слова как бы оценивают то явление, которое они выражают, и эта оценка может на протяжении веков меняться. Словом *умник* еще в эпоху Пушкина могли назвать просто умного человека, не добавляя к нему, той иронии, с которой это слово употребляется в наше время. Пушкин писал в письме к С. И. Тургеневу (21 августа 1821 года): «Глупцы с благоговением слушают человека, который смело все бранит, и думают: то-то умник!». В современном языке умник — это тот, кто умничает, слишком ретиво и назойливо старается показать свой ум. Действительно умного человека обычно называют словом *умница*.

Наоборот, слово *гордый* раньше обозначало 'надменный, высокомерный'. Сейчас это слово в значении 'исполненный чувства собственного достоинства' утратило тот оттенок неприязни, который имело ранее.

Слово может получить и значение, прямо противоположное прежнему: *честить* обозначало то же самое, что и современное *чествовать* 'почитать, прославлять' (в древних памятниках часто встречается поучение «честї отца своего и матерь»), а в современном языке *честить* обозначает 'ругать, обзывать бранными словами'.

Слово *предыдущий*, имеющее в наше время значение 'находящийся или совершающийся перед чем-нибудь', в древнерусском языке означало, наоборот, 'находящийся после чего-нибудь'. Так, выражение *в предыдущей главе* в современном языке означает 'в той главе, которая находится перед данной', а по-древнерусски оно значило бы 'в той главе, которая идет после данной'.

Изучение истории слов может показать, как мыслили наши предки, каково было их мировоззрение, их внутренний мир. Известный след в языке оставили религиозные верования. Некоторые слова, употреблявшиеся ранее в церковном обиходе, попадали в народный язык, переосмыслились и получали подчас противоположное значение. *Благой*, означавшее первоначально 'хороший, добрый, благочестивый', получило в народном языке значение 'злой, упрямый, своенравный'. То же произошло со словом *блаженный*, которым в церковном обиходе назывались святые. Сейчас оно в просторечии и в некоторых говорах означает 'чудаковатый, глуповатый'. С ним связаны такие слова, как *блажь*, *блажить*.

Иногда слова, первоначально означавшие одно и то же, со временем начинают различаться по значению.

Школьникам хорошо известны так называемые полногласные сочетания звуков в словах (оро, ере, оло) и соответствующие им неполногласные (ра, ре, ле). Сопоставив современные слова: краткий и короткий, предать и передать, преступить и переступить, страна и сторона, прах и порох, — мы заметим, что они различаются по значению. Иногда, правда, есть и общее в их значе-

ниях. Можно сказать *краткая речь* и *короткая речь*; однако можно сказать *короткая одежда* и нельзя сказать *краткая одежда*. В чем же дело, чем объясняются эти различия?

Слова с полногласными сочетаниями, например *короткий*, — исконно русские. Они употреблялись в разговорном языке, в древних памятниках делового содержания и сочетались, как правило, с названиями конкретных предметов: короткая одежда, короткие волосы и т. д. Слова с неполногласными сочетаниями (*краткий* и др.) заимствованы из старославянского языка и употреблялись обычно в книжной речи. Там слово *краткий* сочеталось со словами, обозначающими абстрактные, отвлеченные понятия: краткое время, краткая жизнь, краткая беседа. Такие сочетания, как *краткая одежда*, были очень редки, а постепенно стали и вовсе невозможны. Так и возникло различие в значении слов *краткий* и *короткий* и других подобных пар.

Иногда спрашивают: если то или иное слово раньше имело другое значение, то, может быть, употребление его в современном значении неправильно? Нет, это не так. Слова нужно употреблять в тех значениях, которые они имеют в современном языке, независимо от того, что они раньше означали. Вот несколько примеров.

Слово *чернила* было первоначально связано со словами *черный*, *чернить* и обозначало лишь черную жидкость. Нынче словом *чернила* называют особую жидкость любого цвета, употребляющуюся для письма. Поэтому нас не удивляют такие сочетания, как *красные чернила*, *синие чернила*, а сочетание *черные чернила* уже не кажется нам тавтологией (повторением одного и того же). Мы просто забыли происхождение этого слова, а точнее — оно для нас неважно, несущественно.

Слова, хорошо обслуживающие нынешние потребности человеческого общения, не нужно исключать из современного языка на том основании, что в древности они имели другое значение. А таких слов очень много. *Крестьянин* раньше обозначало 'верующий в Христа, христианин', *жертва* — 'подношение богу'. *Труд* в прошлом означало 'страдание, скорбь, печаль', а сейчас применяется для обозначения сознательной целенаправленной, созидательной деятельности людей, приносящей им радость и счастье.

Слова меняют свое значение и при переходе из одного языка в другой. Поэтому не следует думать, что заимствованные слова надо употреблять только в том значении, которое они имели в языке-источнике, и что всякое использование их в другом значении ошибочно. Так, слово *бутерброд* заимствовано из немецкого языка, в котором оно означает только 'хлеб с маслом' (Butter 'масло', Brot 'хлеб'). Но в русском языке бутербродом называют и ломтик хлеба с колбасой, сыром или икрой.

Ведь и парикмахером мы называем того, кто стрижет

и брест, а отнюдь не того, кто делает парики (по-немецки это слово буквально означает 'изготовитель париков').

Развитие значений часто ведёт к тому, что слово, сохраняя старое значение, получает одно или несколько новых и становится многозначным. Это ни в коей мере нельзя считать недостатком языка. Многозначность — обычное явление в языке. Достаточно посмотреть в любой толковый словарь русского языка — и станет ясно, что очень много русских слов имеют не одно, а два, три и больше значений. Существует закономерность: чем чаще употребляется слово, тем больше у него значений. Можно назвать такие частые в нашей речи слова, как *вода*, *рука*, *стол*, *идти* и др. Нельзя считать неправильным употребление слова в каком-нибудь одном значении только потому, что оно имеет и другое значение. Так, один читатель возражал против употребления слова *подъехать* (подъехать к крыльцу, дому), так как оно может употребляться в значении 'подделаться, приспособиться': «Он ловко ко мне подъехал». Но это значение глагола *подъехать* характерно для просторечия, и оно, конечно, не может быть препятствием для употребления того же слова в значении 'приблизиться, передвигаясь на чем-либо'.

Ребята в смысле 'дети' тоже иногда без всяких оснований считают неправильным — только потому, что оно может относиться не только к детям:

И молвил он, сверкнув очами:
Ребята, не Москва ль за нами?

Многозначность слов не препятствует общению, не мешает нам хорошо понимать друг друга. Весь текст или ситуация речи позволяют легко установить, в каком значении употреблено слово. Многозначность, таким образом, не вредит четкости и ясности мысли, чистоте речи, а наоборот, свидетельствует о богатстве языка, о его широких выразительных возможностях.

Кандидат филологических наук
И. С. УЛУХАНОВ

Тем, кто захочет подробнее ознакомиться с вопросами, затронутыми в этой статье, рекомендуем почитать следующие книги:

- И. С. Ильинская. О богатстве русского языка. М., 1963.
- Л. Боровой. Путь слова. М., 1960 (2-е изд.— М., 1963).
- В. Тимофеев. Правильно ли мы говорим? Л., 1961 (2-е изд.— Л., 1963).

ДЕНЬ



Дневная пора больше всякого другого времени суток связана с трудовым процессом. И естественно, что употребление «дневных терминов» тесно переплетено с представлениями о месте и режиме труда.

Для названия отрезков дневного времени в русских говорах чаще всего употребляется слово *выть*. Обычно оно обозначает часть дня от завтрака до обеда или от обеда до ужина, вообще от еды до еды; в некоторых местах *выть* — общее название завтрака, обеда, ужина, полдника. Иногда его значение — «количество пищи, употребляемое в один раз для насыщения». *Выть* служит и для измерения земли, обрабатываемой в один прием. Как термин «измерения площади и времени... а также названия сельской общины или ее части и различных общинных отношений», это слово подвергнуто детальному анализу в книге Ф. П. Филина «Исследование о лексике русских говоров (По материалам сельскохозяйственной терминологии)» (М.— Л., 1936).

Ф. П. Филин отмечает, что «деление дня на выти сохранило свое строго производственное значение: оно производится только в рабочую пору, в остальное же время года *выть* вовсе не обозначает времени». В. И. Даль замечает, что «у крестьян в рабочую пору 3, 4 или 5 вытей» (в значении «пора или час еды» — новгородское, вологодское, пермское), «но если вытью называется рабочее время от еды до еды, то делит день на 3—4 выти». В разное время года длительность дня, следовательно, и его периоды различ-

ны: «По зимам выти (или уповодки) коротки, день короток, темно».

И в наше время слово *выть* активно употребляется в говорах. Например оно отмечено в «Словаре русских старожильческих говоров Средней части бассейна р. Оби» (Томск, 1964): «*Выть*³. Промежуток между едой; то же, что *уповод, упряжка*. Выть проработал — от ёжи до ёжи. Две выти проработал». Словарь приводит также устойчивое выражение *от (с) выти до выти* «от еды до еды (от завтрака, до обеда, от обеда до ужина)». Объяснение *выти* как *уповода* и *упряжки* весьма показательно: многозначность слова допускает активное использование синонимов и параллелизмов.

Разнообразие употребления характеризует и слова *уповод* (*уповодь*), *упой*, *упойвод* — это и «время земледельческой работы от перерыва до перерыва»: «Какую он палестину за один уповод скошил»; «С раннего утра да за один уповод все и спал», и «короткий промежуток времени», и «половина дня». Во многих источниках указывается, что «день разделяется на уповоды. Летний — три, зимний — два уповода». Приведенные здесь значения, выбранные из книги Ф. П. Филина, — лишнее свидетельство неразрывной связи представлений о времени и о труде: ведь всякая деятельность человека протекает во времени.

В Словаре В. И. Даля *уповод* определяется как «срок, время в несколько часов, от двух до четырех часов»; смысловое отличие *уповода* от *выти* показано на примере: «Выти-те долгие, а уповоды короткие». Современные словари таких отлич-

чий уже не регистрируют, а ставят *уповод* в один синонимический ряд с *вытью*. «уповод. То же, что *выть* в 3-м значении» (Словарь русских старожильческих говоров...).

Выги и *уповоду* синонимичны *запряжка*, *выпряжь*, *упруг* и *упряжка*. «Уповод — одна запряжка» (Словарь русских говоров южных районов Красноярского края. 1968). Слово *выпряжь* было зафиксировано в старой Тобольской губернии; *упряжка* отмечено в упомянутом Словаре русских старожильческих говоров и в Словаре В. И. Даля без указания места; *упруг* приводится в Словаре В. И. Даля как владимирское, а в «Донском словаре» А. В. Миртова (1929) как донское. «*Упруг* — рабочий срок, от выги до выги, продолженье работы в один прием без роздыха; уповод. В два упруга насилу вспахал» (Даль). Аналогично и определение Далем *упряжки*: «Срок, время, сколько лошадь ходит за один раз в сохе, или ... пространство, полоса, сколько пашут не кормя и без отдыха на одной и той же лошади, вообще треть рабочего дня». В Словаре русских старожильческих говоров показано употребление, вышедшее за пределы сельскохозяйственных представлений: «*Упряжка*. То же, что *выть* в 3-м значении. Вот я работал на шахте: восемь часов упряжка. Две упряжки работаю, одну отдыхаю. Упряжка — работа без перерыва. Давай одной упряжку дадим».

Стало временным термином в говорах и слово *вода*, им обозначается период времени в 12 или в 6 часов. Термин употребителен в среде моряков и рыбаков и отражает характерные условия их профессии. Замечая состояние воды во время прибрежных поездок, поморы определяют с достаточной верностью и употребленное на поездки время: «На палой воды вышли, а туда на другой сухой стали» (на поездку употребили 15 часов). Продолжительность выезда в море определяется словами: одна вода, две воды, на одну воду, на две воды и т. д. Вода, по данным «Словаря русских народных говоров» (вып. IV. Л., 1969), — период времени (12 часов), в продолжение которого совершается морской прилив и отлив, почему говорят, что в

сутках две воды. *Знать воду* 'знать время приливов и отливов'; *стоять целую воду* 'прождать 6 часов'; *полводы*, *треть воды* 'половина, треть прилива, отлива' (см. также П. Л. Маштаков. Материалы для областного водного словаря. Л., 1931; И. М. Дуров. Опыт терминологического словаря рыболовного промысла Поморья. Соловки, 1929).

Малые промежутики времени, как и крупные, тесно сплетаются с представлением о деятельности, производимой в эти промежутики. *Полдень* (полудень, полудни, полдни, полъдни) 'средина дня, 12 часов, обед'; *полдни* 'место отдыха скота в полдень' и 'самое время отдыха скота': «Скотина на полднях, лошади в ночном, денном или „на росе“... смотря по тому, где находится скот и в какое время он пасется» (Ф. П. Филин. Указанная работа). *Денно* 'полдненное время летом, когда во время перерыва в работе кормят на лугу, в ложине и т. п. лошадей, и место, где во время этого перерыва кормят лошадей' (там же) — так говорят в Дубенском районе Тульской области. На Псковщине это время обозначено фразеологическим сочетанием *сонце напалня*: «Если солнце высоко, говорят: сонце напалня». Полдень может иметь также названия *межень* (Новгородская обл.), *удни* (Калужская обл.), и фразеологические сочетания местного характера: *солнце выше эли*, *солнце на эли* (Орловская, Томская обл.), *солнце в обед* (Словарь ... Красноярского края).

Часто временные термины имеют в разных местах различное содержание. Так, *удни* (варианты *уденье*, *уденки*, *уденья*) — это не только 'полдень', но и 'время перед рассветом' и 'послеобеденное время'. На Севере, в Архангельской области, есть глагол *удновать* 'спать, отдыхать': «Наши как пообедали, так все уднуют» (А. Подвысоцкий. Словарь областного архангельского наречия. СПб., 1885). Север более других областей сохранил древние значения слова. Анализ этого термина, сделанный Д. Прозоровским на материале летописей, позволил заключить, что *уденьем* считалось 'время от русского полудня до двух часов или несколько далее по по-

лудни» (Д. Прозоровский. О славяно-русском дохристианском счислении времени. — «Труды 8-го археологического съезда в Москве. 1890». Т. II. М., 1895).

Живет в говорах и старинное название послеобеденной поры *пáобед*, известное еще летописям: «7059 (1551) августа 25, в паобедех, во вторник, пожар» (Новгородская II летопись). В некоторых областях значение этого слова не совпадает с летописным. Так, в бывшей Олонечкой губернии *пáобед* — время второго завтрака (Г. Куликовский. Словарь областного олонечкого наречия. СПб., 1898). Заметим, кстати, что в литературном языке для послеобеденной поры существует наречное выражение *зá полдень*: «Спокойно спит в тени блаженной Забав и роскоши дитя. Проснется зá полдень». (Пушкин. Евгений Онегин.)

Мы видели, что деление времени на определенные отрезки связано с производственной деятельностью человека и представляет собою способ характеристики труда по его длительности. Естественно поэтому, что чем разнообразнее условия работы, тем разнообразнее и приемы терминотворчества. Чем сложнее рабочая обстановка, тем оригинальней сопутствующая ей терминология времени. Вот интересный пример, взятый из деятельности наших современников-ученых. При проведении уникального медико-биологического эксперимента — жить и работать целый год в условиях совершенной изоляции от внешнего мира — участники эксперимента (Герман Меновцев, Андрей Божко и Борис Улыбышев), имея строгое расписание по часам и минутам, пользовались бытовым измерением времени. Обычный рабочий день: «Подъем в семь утра... Под музыку зарядка... Потом — умывание, завтрак и первая запись параметров. Каждые два часа — новая запись. За день, значит, нужно сделать семь таких записей. Они так и мерили время: семь раз запипись — и конец рабочего дня» («Комсомольская правда», 25 декабря 1968). Что это, как не модернизированная упряжка?

Н. В. ПОПОВА
Ленинград

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Эти однокоренные существительные образованы различно: *человечество* с суффиксом *-ств(о)* от слов *человек* и *человеческий*, а *человечность* — с суффиксом *-ость* от *человечный*. Как правило, подобные слова имеют в языке разные значения: *человечество* — «человеческий род, все люди в целом», *человечность* — «гуманность, человеколюбие, черты поведения, достойные человека». Однокоренные слова с разными суффиксами и различным значением привлекают внимание лингвистов как возможный источник речевых ошибок; такие слова называют паронимами — от греческого *пара* «возле, вблизи» и *онома* «имя».

И в данном случае есть о чем подумать. Как сказать: «преступления против человечества» или «против человечности»? В современной прессе встречается и тот и другой оборот, причем в совершенно одинаковой роли: «Соединенные Штаты... совершили преступление против человечности во Вьетнаме» («Правда», 31 января 1968); «международное право осуждает войну как самое тяжчайшее преступление против человечества» («Правда», 27 марта 1969).

Нельзя предположить, что в одних случаях имеется в виду *человеческий* род, а в других — принципы гуманности. Слово *человечество* «отходит» от указанного выше «своего» значения еще и в таких разговорных, отчасти устарелых наречных сочетаниях, как *по человечеству* «учитывая человеческие свойства, правила, начала»: «по человечеству, ты прав».

И все же ни в одном из приведенных здесь примеров нет прямой

речевой ошибки; объясняется такое употребление *человечество* и *человечность* их давней историей в русском литературном языке. Отдельные свойства слов напоминают ныне об их сложном предшествующем смысловом развитии и взаимодействии.

Несравненно более старое в этой паре — слово *человечество*. Еще в древности оно имеет два значения — 'человеческий род, люди вообще' и 'человеческие свойства' («Материалы для Словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского), и в новое время (XVIII — начало XIX века), когда в слове происходят решающие изменения, оно сохраняет в общем те же значения.

В значении 'человеческий род' это слово можно встретить, например, в трактате «Слово о премудрости, благоразумии и добродетели» (1752) В. К. Тредиаковского при указании на человека как высшее творение природы: «Преизящность человечества из всех видимых в прекрасном естестве созданий»; в речи профессора Московского университета П. И. Страхова «Слово о влиянии наук в общее и каждого человека благоденствие» (1788): «[науки] суть собрание опытов и изобретений мужей, потрудившихся в искании... средств к блаженству человечества»; в известном Словаре иностранных слов Н. Кириллова (1845—1846): «Человек есть часть общества, общество — часть человечества, человечество — часть органической природы».

В другом значении — 'человеческие свойства' — это слово употребляет А. П. Сумароков в «Статях о добродетели»: «Человек, лишенный человечества, противнее хищного зверя»; ученик Ломоносова Н. Н. Поповский в переводе сочинения Дж. Локка «О воспитании детей» (1759—1760): «Вдохнуть человечество в молодых людей»; Н. М. Карамзин в «Письмах русского путешественника» (1791): «Я с гордостью помышляю о своем человечестве»; декабрист П. И. Пестель в законодательном сочинении «Русская правда»: «Продавать, закладывать, дарить... людей наподобие вещей [есть] дело постыдное, противное

человечеству». Тогда же обычны обороты с предлогом *по*: «надобно любить человека по человечеству» (Сумароков), «поступать по человечеству» («Московский вестник», 1809).

В «Вестнике Европы» (1818) отмечено: «Слово *человечество* (Menschheit) имеет у нас два значения, во-первых, под ним разумеем род человеческий, во-вторых, людскость, или свойства человеческие, незверские». Однако уже в это время смысл слова постепенно изменяется: второе значение отступает на задний план и угасает, а первое становится основным и расширяется в употреблении. О происходящем в слове сдвиге свидетельствует и значительное число переходных, смешанных случаев, допускающих двойное или «обобщенное» понимание: возноситься выше человечества, священные права человечества, законы человечества, успехи человечества и др.

Тем не менее «отступление» второго значения неуклонно продолжалось: в языке Пушкина из 23 случаев слово *человечество* лишь дважды употреблено в этом значении; у Белинского также встречаются еще оба значения слова, но второе неизмеримо реже первого. В наше время второе значение — 'присущие человеку свойства, человеколюбие, гуманность' в «Толковом словаре русского языка» Д. Н. Ушакова не отмечается вовсе, а в четырехтомном «Словаре русского языка» (1957—1961) и в 17-томном «Словаре современного русского литературного языка» указывается как «устарелое». И все же, как мы видели, прежние свойства слова пережиточно сохраняются, подчас сближают слова *человечество* и *человечность*.

Чем же объясняется вытеснение в слове *человечество* второго значения, которое само по себе актуально и употребительно до сих пор? Прежде всего «давлением» синонимов. Наряду с *человечество* в XVIII — начале XIX века выступали слова *человеколюбие* (правила человеколюбия, закон человеколюбия, чувствования человеколюбия), *людскость*, например в исследова-

нии известного русского мыслителя XVIII века С. Е. Десницкого «Юридическое рассуждение о начале и происхождении супружества» (1775): «просвещение правов народных и последовавшее отсюда большее чувствование людскости и человечества» и др. Наибольшее же влияние оказала «конкуренция» появляющихся с 40-х годов XIX века слов *человечность* и *гуманность*, закрепившихся именно в значении 'присущие человеку свойства'. Первое из них (человечность), как уже говорилось, образовано от прилагательного *человечный* — слова также нового, возникшего в конце XVIII — первых десятилетиях XIX века. Обстоятельства появления слов *человечный*, *человечность* и, главное, отражение этого в научной литературе не лишены интереса сами по себе, но вначале определим собственно языковые предпосылки возникновения этих слов.

Проблематика, связанная с человеком, была очень актуальной в литературе указанного времени. В России и других странах появляется множество сочинений, трактующих место человека в природе и обществе, взаимные отношения людей, их свойства, гражданские права и обязанности, нравственные и духовные качества. Особенно близка «гуманитарная» тема просветителям. Неудивительно, что и сами слова *человек*, *человеческий* употребляются в литературе этого времени очень широко и в разнообразных сочетаниях. Например, в журналах и изданиях Н. И. Новикова: «Человек, одаренный толь благородным духом, по которому он и человеком именоваться право имеет» («Московское еженедельное издание», 1781); «истинные патриоты и прямые человеки» («Утренний свет», 1777); в знаменитой «Беседе о том, что есть сын отечества» А. Н. Радищева (1789): «Истинный человек и сын отечества есть одно и то же». В ученых и публицистических произведениях различных авторов встречаем сочетания: ум, разум человеческий; естество человеческое; природа, натура человеческая; человеческие чувства, чувствования, нравы; человеческое обще-

ство, бытие; должности, права человека и др.

При всем богатстве оттенков, передававшихся прилагательным *человеческий*, оно имело в основном относительное значение — 'относящийся к человеку', качественное значение 'достойный человека', хотя и могло в отдельных высказываниях передаваться этим словом: «лишить их всего человеческого» («Вестник Европы», 1820), не было для него регулярным, не отвечало его грамматической природе. Как раз потребность «назвать» качественное значение и вызвала появление прилагательного *человечный*. Самый ранний известный пример употребления этого слова — в «Письмах русского путешественника» Н. М. Карамзина, где оно встречается в сравнительной степени — *человечнее*.

Во время своего путешествия Карамзин посещал известных мыслителей, беседовал с ними. В Кенигсберге он виделся с Кантом и описал встречу с этим философом. Будучи в Женеве, Карамзин общался с писателем Лафатером. Он обратился к Лафатеру с вопросом в духе того времени: «Какая есть всеобщая цель бытия нашего, равно достижимая для мудрых и слабоумных [простых людей, не мыслителей]?» — и получил письменный ответ. Перевод этого ответа, помещенный в «Письмах», отличается сложностью, отвлеченностью выражений. Стремясь передать особенности текста, Карамзин использует не вполне обычные формы слов, цитирует (в скобках) оригинал, применяет курсив. Вот отрывок со словом *человечнее*: «Чем простее, вездущнее, всенасладительнее, постояннее или предмет, в котором или через который мы сильнее существуем, тем существеннее (exister) мы сами, тем вернее и радостнее бытие наше — тем мы мудрее, свободнее, любящее (libender), любимее, живуще, оживляющее, блаженнее, человечнее, божественнее, с целью бытия нашего сообразнее».

Неудивительно, что это место необычностью выражений привлекло внимание известного ревиителя рус-

ского слога А. С. Шишкова, который в своем «Рассуждении о старом и новом слоге российского языка» (1803) подверг его критике. В частности, он писал: «Свойственно ли нам из имени *человек* делать уравнительный степенъ *человечнее?* Поэтому могу я говорить: моя лошадь лошадинее твоей, моя корова коровнее твоей?». Речь шла не только о слове *человечнее*, но и о ряде подобных образований с качественным значением: картиннее, напряженнее и др. Как видим теперь, Шишков жестоко ошибался, восставая против слова *человечный*.

Распространение слова *человечный* относится к 40-м годам XIX века. У Пушкина его нет, а Белинский в обзоре «О детских книгах» (1840) еще сопровождает его оговоркой «если можно так выразиться». Интересно, что слово это отмечено и в других, причем весьма разных случаях.

Так, Е. А. Земская обнаружила его в словарике, составленном авторами публикации «Путешествия русских посланцев XVI—XVII вв. Статейные списки» (М.—Л., 1954), где слово *человечный* определено как «видный рослый». Однако если обратиться к самому источнику, то оказывается, что текст не дает оснований для такого толкования. В 1667—1669 годах от царя Алексея Михайловича в сложной международной обстановке было направлено посольство в Испанию и Францию во главе со стольником П. И. Потемкиным. По окончании миссии посол представлял, по обычаю, отчет («статейный список»), где подробно излагал обстоятельства и содержание переговоров. Потемкин, человек любознательный и образованный, в конце отчета сообщает и свои живые впечатления о виденном. При этом он говорит о Париже, центре культуры, просвещения и замечает: «Люди во Французском государстве *человечны* и ко всяким наукам, и философским и к рыцарским, тщательны».

Едва ли московского стольника поразил рослый, дюжий вид тогдашних парижан. Скорее он хотел указать на их живость, склонность к учению, как позднее стали гово-

рить, политичность. Приведенное выше определение взято, вероятно, из «Толкового словаря» В. И. Даля; там оно относится к отмеченному в некоторых говорах в XIX веке употреблению слова в смысле «рослый и плотный, видный собою» (примером служит такая фраза: «Он чел'эшный мужик, и баба его чел'эшна»). Конечно, эти разделенные во времени примеры не могли быть непосредственным образцом, основанием для утвердившегося с эпохи Белинского слова *человечный* в его современном литературном значении. Но вместе с тем они показывают возможность и, так сказать, неисключительность подобной формы в русском языке.

Существительное *человечность* распространяется почти одновременно с прилагательным. С ним тоже связано некоторое научное недоразумение. В 1769 году отдельной брошюрой была издана небольшая «аглинская» повесть французского сентиментального писателя Франсуа д'Арно «Сидней и Силли, или благодеяние и благодарность» в переводе Д. И. Фонвизина. Герой, столкнувшись с черствостью и жестокостью окружающих людей, впадает в отчаяние, но затем находит доброго покровителя и снова обретает счастье. В конце повести, между прочим, говорится: «Душа моя изображалась на лице моем и изъясляла нежность и *человечество*». Слово *человечество*, обычное для того времени, не раз встречается в повести в обоих своих значениях.

Когда К. П. Петров составлял «Словарь к сочинениям и переводам Д. И. Фонвизина» (1904), в основу было положено первое «Полное собрание сочинений» писателя (СПб.—М., 1888). А там приведенная фраза напечатана с ошибкой: вместо безусловно устаревшего к концу XIX века слова *человечество* в значении «присущие человеку свойства» набрано *человечность*. Расписывая для словаря собрание сочинений, Петров привел и фразу с опечаткой; таким образом в словаре оказался один пример на слово *человечность*. Получалось, что Фонвизин — первый и единственный писатель XVIII века, употре-

бивший это слово задолго до Белинского. Данные Петрова использованы в статье Н. М. Шанского «К истории некоторых слов на -ость» («Ученые записки Рязанского педагогического института», № 8, 1949). В дальнейшем словарь или статья почти неизменно воспроизводились в историко-лексикологических исследованиях.

Слово *человечность* (как и *гуманный*, *гуманность*) входит в русский литературный язык с 40-х годов XIX века и тесно связано со словоупотреблением Белинского: все эти слова можно с полным правом считать литературным нововведением великого критика. Новые термины широко используются Белинским и передают различные специальные оттенки. Показательно, что новые слова, особенно вначале, выступают рядом со старыми (человечество, человеколюбие, людскость и др.), подчас «перенимая» у них, развивая и обновляя уже сложившиеся типы сочетаний. У Белинского: «Орудием и посредником воспитания должна быть любовь, а целью — человечность (*die Humanität*)» (Детские сказки дедушки Ириней); «гуманность есть человеколюбие, но развитое сознанием и образованием» (Взгляд на русскую литературу 1847 года).

В свою очередь сохраняющиеся в употреблении старые слова, например *человеколюбие*, насыщаются более глубоким и специальным смыслом; в большей мере получают способность к качественному осмыслению прилагательное *человеческий*; некоторые слова и значения, как мы видели, вытесняются и исчезают (людский, людскость). См. определения в Словаре Даля, где новые слова впервые получают лексикографическую трактовку: «гуманный, человеческий, человечный, людский; свойственный человеку истинно просвещенному; человеколюбивый, милостивый, милосердный»; «гуманность, человечность, людскость; благодушные, человеколюбие, милосердие; любовь к ближнему».

У Белинского встречаются еще как варианты с особыми смысловыми оттенками новообразования *человечественный* (еще раньше в

журнале «Московский телеграф», 1832: *человечественные идеи*) и *человечественность* (встречается и в упоминавшемся Словаре Кириллова: «человечественность в женщине возможна только при ее эмансипации»), впоследствии не утвердившиеся в языке. Об этих словах см. в книгах: Ю. А. Бельчиков. Общественно-политическая лексика В. Г. Белинского. М., 1962; Ю. С. Сорокин. Развитие словарного состава русского литературного языка. 30-90-е годы XIX века. М.—Л., 1965.

В наше время рассматриваемый круг слов по-прежнему достаточно велик: *человечество*, *человечность*, *человеколюбие*, *гуманность*; *человеческий*, *человечий*, *человечный*, *человеколюбивый*, *гуманный* и др. Каждое из них имеет индивидуальные особенности и оттенки, нередко они предстают как синонимы. В целом четкое различие имеют и описанные слова *человечество* и *человечность*. Вот некоторые типичные сочетания:

все прогрессивное *человечество*; освободительная борьба *человечества*; история *человечества*; процессы в жизни *человечества*; светлое будущее *человечества* — коммунизм; это придало фильму теплоту, *человечность*; роман волнует своей *человечностью*; проблемы *человечности* героя; принцип, закон, гимн *человечности*. С оттенком 'свойственное человеку, *человечность*' выступает и субстантивированное прилагательное *человеческое*: *человеческое* в человеке.

Тем не менее бывшая соотносительность слов *человечество* и *человечность* проступает не только в указанных выше отдельных (хотя и нередких) оборотах и выражениях, но и в заметной способности слов образовывать широкие по смыслу контексты, где *человечество* выходит за пределы своего значения 'человеческий род', указывая отчасти и на 'человечность': ср. светлые идеалы *человечества* — высокие идеалы *человечности* и т. д. Любопытно, что французское *humanité*, с которым слова *человечество* и *человечность* соотносились в переводных и литературных текстах XVIII—XIX веков, имело, как и че-

ловечество, двойное осмысление — ‘человеческий род’ и ‘человеческие свойства, человеколюбие’. Однако в русском языке смысловая дифференциация пошла по пути образования разных слов (от одного корня, с разными суффиксами), а французское слово и поныне сохраняет оба значения.

В. В. ВЕСЕЛИТСКИЙ

НАБАТ

В современном русском литературном языке основное значение слова *набат* — ‘сигнал тревоги, подаваемый ударами колокола’: «Набат! набат!.. На сходку созывают!» (Мей. Псковитянка); «И вдруг вдалеке раздался набат: тревожный, гулкий голос колокола полетел над городом» (А. Н. Толстой. Хождение по мукам).

Кроме того, в устаревшем для нас значении *набат* — это ‘большой величины барабан’: «В битвах удары конницы бывают всегда при звуке огромных набатов (или барабанов)» (Карамзин. История государства Российского).

Судя по «Материалам для Словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского, впервые это слово появилось в памятниках XVI века в значении ‘огромной величины медный барабан’: «Набать Турской, писанъ красками; набать кадной, писанъ клинцы; на нем кровля телятинная» (Оружие и ратный доспех царя Бориса Федоровича Годунова. 1589).

Слово *набат* происходит из арабского языка. В любом арабском слове легко выделить корень, чаще всего состоящий из трех согласных звуков. Так, в арабском слове *науба*, которое легло в основу русского *набат*, выделяется корень *нуб* с общим значением ‘замещение, чередование’.

Существительное *науба* ‘очередь, дежурство’ имеет форму множественного числа *наубат*. Попало оно в русский язык, как и большинство арабских заимствований, через тюркское посредство. Тюрки заимствовали у арабов форму множественного числа *наубат*, упростив только сочетание согласных *уб > б*: *наубат > навбат > наббат > набат*.

Интересно, что в сербскохорватском языке есть слово *побет* ‘смена, караул’, которое заимствовано из арабского через турецкий язык (ср. турецкое *побет*). Это дает возможность предположить и такой вариант происхождения слова *набат*: арабское *наубат > турецкое побет (аў > ё)*. Арабское *наубат* могло, звучать в древнем тюркском *нобат*, которое под влиянием аканья на русской почве стало *набат*.

Первоначально в арабском языке словом *науба* называли смену караула, при которой били в барабан. Народы, принявшие ислам, широко употребляли его с тем же значением: *навбат* ‘очередь, смена’ в таджикском языке, *наубат* ‘очередь, караул’ в наречии уйгуров и в джагатайском книжном языке, турецкое *побет* и древнетюркское *пубат* ‘дежурство, караул’.

При относительном звуковом совпадении арабского и русского слов они резко разошлись в значении. Вероятнее всего, впервые слово *набат* попало в русский язык в составе фразеологизма *бить набат*. Позже из-за неясности слова *набат* произошло ‘подновление’ его формы, стали говорить *бить в набат*, *бить по набату*: «Князь же великий повелъ въ стану своемъ въ набаты бити, да соберутся людие на то устроение ко граду на приступ» (Софийский временник. 1553); «Велѣл бить по набату и в сурну играти» (Никонская летопись. 1555).

Отсюда и то, во что бьют, метонимически стало пониматься как большой барабан. В «Словаре церковнославянского и русского языка» 1847 года есть такой пример из «Актів исторических»: «И наряд у них и набаты взяли».

В «Энциклопедическом словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрова, в «Новом энциклопедическом словаре» под редакцией К. К. Арсеньева,

в «Самом полном общедоступном словотолкователе» С. Алексеева и новом четырехтомном «Словаре русского языка», кроме названных значений, у слова *набат* (или *набаты*) отмечено еще одно: «старинный русский музыкальный инструмент, употреблявшийся в военной музыке, род большого барабана или большой войсковой барабан в Древней Руси». А Ф. И. Эрдман в статье «Деньги, кабак, набат», помещенной в «Новгородских губернских ведомостях» (1855, № 16), объясняет *набат* как «инструментальный концерт, который ежедневно давали у ворот правителя». Это значение есть и у турецкого слова *nâbet* «игра оркестра перед дворцом высокопоставленного лица» (Д. А. Магазаник. Турецко-русский словарь).

В XVIII веке у слова *набат* развивается другое значение: «охранительный или тревожный звон». В. И. Даль называет *набатом* даже «бой в доску, в трещотку для сбора людей по случаю общей опасности», но против этого возражает А. Г. Преображенский, отмечаящий в «Этимологическом словаре русского языка», что «грохот в трещотку, удары в доску никогда не называются *набатом*».

Употребительны многочисленные производные — прилагательное *набатный* «служащий для битья в набат»:

Начальник всем полкам велел
Сбираться к бою, завенел
Набатный колокол.

Лермонтов. Черкесы

Прилагательное имеет и переносное значение «призывный, тревожный»: «Все более широкие пласты родной земли приходят в движение, и под окном возникает мелодия набатной песни» (Леонов. Речь о Чехове).

Наречие *набатно* употребляется в значении «тревожно, призывно»: «Загудел и набатно забил колокол на колокольне» (А. Н. Толстой. Хмурое утро).

От существительного *набат* был образован глагол *набатить* «разглашать», а от этого глагола существительное *набатчик* «тот, кто набатит». Последнее отмечено еще в

«Парижском словаре Московитов» 1586 года, изданием Б. А. Ларинным (Рига, 1948), в форме *набатчик*; по-видимому, и появилось здесь вместо *т* под влиянием слова *барабанчик*. В документах XVII века это слово встречается несколько раз: «Набатчик один человек, сурначей два человека» (1664); «Трем набатчикам по семи десарских ефимков человеку» (1661).

Возможно, что *набатчик* — это переделанное турецкое *nâvâtçı* «часовой, вестовой».

В XIX веке у фразеологического сочетания *бить набат* появляется переносное значение «поднимать тревогу»:

Я постараюсь, я, в набат я
приударю,

По городу всему наделаю хлопот
И оглашу во весь народ.

Грибоедов. Горе от ума

В современном русском языке слово *набат* малоупотребительно. Трудно точно передать его значение хотя бы в такой фразе, взятой из радиопередачи: «Не дают умолкнуть набату времени».

От того же арабского глагольного корня, что и слово *набат*, в арабском языке было образовано причастие *nâ'ib*.

Отсюда в русском языке слово *наиб* «наместник, заместитель», на Кавказе и на Востоке называют так же судью. В «Полном толковом словаре» Н. Дубровского слово это толкуется как «пристав участка при персидском владычестве в Закавказье». В книге известного путешественника и ориенталиста И. Березина «Путешествие по Востоку» (Казань, 1852) читаем: «Батальион командует султан, капитан, под которым стоят „наиб“ (наместник), поручик, и „наиб — и — дююм“ (второй наместник), прапорщик».

Взятое в кавычки слово *наиб* и пояснение к нему свидетельствуют о том, что оно было новым и не совсем понятным для русского языка. Герой повести Льва Толстого «Хаджи Мурат» был «знаменитый своими подвигами наиб Шамиля».

В русский язык это слово попало также от тюркоязычных народов,

о чем свидетельствует сохранившееся в русском языке ударение на последнем слоге (в арабском — на первом: *на'иб*).

Форма множественного числа *ну'й'аб* от арабского причастия *на'иб* легла в основу русского слова *набоб*.

Известно, что в начале XI века некоторые области Индии были присоединены к «империи ислама», к этому времени и относится расцвет мусульманских колоний, управляющихся *набобами*. Индийцы часто употребляли множественное число (из-за экзотического его образования) вместо единственного, поэтому в Индии и распространилась форма *ну'й'аб*. А так как в арабском языке гласные звуки на письме не обозначаются, то гласную первого слова стали читать как *а*, двойной губной *й'й* уподоблялся следующему согласному *б*, а долгое *а* могло переходить в *о*.

Арабское *ну'й'аб* стало звучать как *набоб*, *набаб* или *наваб* (Словарь иностранных слов).

Впоследствии (после падения государства Великого Могола) этот титул получали правители, которые в качестве вассалов подчинялись британскому владычеству. Позже его стали давать знатным индусам, а в обыденной речи так называли разбогатевших в Индии англичан или просто очень богатых людей. Например: «Сумасбродный и расточительный князь, влюбленный в княжну, давно на нее сорил деньгами, как индийский *набоб*» (Данилевский. Княжна Тараканова); «Разве мало таких *mésalliance* устраивают русские *набабы*» (Мамин-Сибиряк. Горное гнездо).

Существительное *набоб* попало в русский язык сравнительно поздно (не раньше XVIII века) при посредстве французского, который в свою очередь позаимствовал его у англичан (английское *nabab* или *nabob*, французское *naabah*).

«Словарь на семи языках» А. и В. Поповых (1902) отмечает производные от *набоб*: *набобское* достоинство и *набобство*.

Т. П. ГАВРИЛОВА
Баку



УФИМЕЦ

Вопрос. Чем объяснить, что в наименованиях жителей г. Уфы появился звук *м* — *уфимец*? В других аналогичных случаях мы имеем на конце *-инец*, например, *Чита* — *читинец*, *Ялта* — *ялгинец*.

Ответ. Относительно появления в прилагательном *уфимский* звука *м* мы не располагаем никакими данными. Можно лишь сделать предположение, что звук *м* здесь давал возможность избежать созвучия с прилагательным *финский*.

«Русский язык в школе» (1962, № 1)

Слово *уфимец* стоит особняком среди большой группы русских слов, обозначающих лиц по месту, где они родились или постоянно живут (например: *варшавянин*, *волгарь*, *дальневосточник*, *костромич*, *лондонец*, *сибиряк*, *харьковчанин*, *ярославец*). Самый распространенный суффикс, участвующий в образовании таких слов, — *-ец*.

В ряде случаев в производных словах появляются дополнительные звуки и слоги, облегчающие присоединение суффикса *-ец* к производящей основе: Дно — дновский, дновец; Дели — делийский, делиец (множественное число — делийцы); Пенза — пензенский, пензенец. Чаще всего роль промежуточного звена выполняет суффикс *-ин*: Туапсе — туапсинский, туапсинец; Чита — читинский, читинец; Ялта — ялтинский, ялтиненец... И вдруг слова *уфимский, уфимец* с их загадочным *-им-*.

Необычный звуковой облик этих слов постоянно привлекает к ним внимание. Уже давно замечено, что звук *м* удачно «вписался» в их фонетическую оболочку. Замечательный языковед середины прошлого века К. С. Аксаков писал: «Как прихотлив кажется он [народ] в производстве названий жителей от имен городов! Он говорит: москвич, сибиряк, костромич, тверич, туляк, калужанин, уфимец. Здесь трудно ошибиться: внутренний голос, внутреннее чувство народа говорит, как надо сказать» (Несколько слов о нашем правописании. «Московский сборник», 1846). И все-таки: по какой причине и когда появился звук *м* в словах *уфимский, уфимец*? Или так было всегда? Обратимся к истории.

Уфа как крепость была основана недалеко от устья реки Уфы в 1574 году; в 1586 году крепостное поселение получило статус города. Если существительное, обозначающее жителя Уфы, не должно было появиться раньше возникновения самого города-крепости (то есть не раньше последней четверти XVI века), то прилагательное от названия реки могло существовать и прежде. Производные от имени Уфа в соответствии со словообразовательными

нормами русского языка должны были иметь суффикс *-ин-*: *уфинский, уфинец*. Это предположение. О чем говорят факты?

В нашем распоряжении находятся документы начиная с 1600 года. Это переписка уфимских воевод с другими воеводами и с центральной властью, опубликованная в изданиях: В. А. Новиков. Сборник материалов для истории уфимского дворянства. Уфа, 1879; Материалы по истории Башкирской АССР. Ч. I. М.—Л., 1936; Г. Ф. Миллер. История Сибири. Т. II. М.—Л., 1941. Проследим, как писали в первой половине XVII века интересующие нас слова. Для этого выберем данные хотя бы за несколько лет (с указанием места появления документа):

- 1600: в Уфимском уезде (Тюмень). с уфимским новокрещеном с Рудаком (Уфа; см. ниже ответ из Тюмени), уфимских башкирцев (Уфа).
 1607: уфимские волости (Верхотурье).
 1616: под Уфимский город (Москва).
 1625: в Уфимском уезде (Тобольск).
 1635: имена уфимским конным стрельцам (Москва), уфинцам детям боярским (Москва), Уфимский уезд (Москва), в Уфимском уезде (Москва).
 1640: Уфимского уезду (Уфа), Уфимского города (Уфа).
 1647: с тем уфимским изменником (Москва), уфинца Семена Гладышева (Москва), уфимским детям боярским (Москва), уфинцы с детьми боярскими (Москва).
 1648: уфинцу Григорию Зыкову (Уфа).

Вот наиболее интересные примеры: «...писал еси мне с уфимским новокрещеном с Рудаком с Федоровым, что блин челом государю... Уфимского уезду Каратабинской волости ясашные башкирцы...» (1600. Тюмень); «...а ныне де Ишим кочует на Уфском устье и пошел в

Уфимские волости старых людей табынцов сыскивати; ...и к нему съехались Уфинсково уезду Катайские волости татарове» (1623. Тюмень); «А отойти ему, Федору, в Уфимском уезде в крепком укрытом месте с великим береженьем, чтоб Уфинскому уезду башкирцев побивать... не дать покаместо царевичу Аблаю» (1635. Москва); «Список уфимцам дворянам и детям боярским...» (там же): «Память уфинцу Миките Алексеичу Лопатину, ехать ему в Уфимский уезд...» (1671. Москва).

Письменные источники первой половины XVII века свидетельствуют о том, что ни в произношении, ни на письме употребление *н* и *м* в производных от географического имени *Уфа* не создавало смыслового различия, что смещение *н* и *м* здесь наблюдалось с самого начала (по меньшей мере, с конца XVI века, потому что оно есть уже в документах 1600 года); что, начатое как диалектное явление, оно приобрело общерусский характер (выписки сделаны из документов, составленных в Уфе, Москве, Тюмени, Тобольске, Верхотурье и других городах); что *н* использовался в пять-шесть раз чаще, чем *м*, и что, следовательно, интересные нас слова употреблялись преимущественно в той форме, которая отвечала и продолжает отвечать нормативной грамматике, — с суффиксом *-ин-* (уфинский, уфинец).

Смещение *н* и *м* в производных от названия *Уфа* прослеживается и дальше, вплоть до конца XVIII века: в письмах и бумагах Петра Великого, в сочинениях историков и географов П. Рычкова, Ф. Полунина, В. Татищева и др. Однако с течением времени увеличивается удельный вес *м*: в середине

XVIII века примеров с *м* уже не меньше трети. Это превращает формы с *н* и *м* в нормативно-вариантные, стилистически равноценные, различающиеся лишь степенью употребительности: «...и башкирцом велено следовать в Красноуфинск в команду подполковника князя Путятина... И ис Красноуфимска велено следовать реченному подполковнику Путятину...» (1740); «Красноуфинская крепость ...в вершинах реки Уфы» (Ф. Полунин. Географический лексикон Российского государства. 1773); «По ней [р. Уфе] две крепости: Красноуфимская и Елдацкая» (там же).

В официальном языке прилагательное *уфимский* окончательно приобретает современный облик во второй половине XVIII века (см., например, наказ уфимского дворянства депутату в Комиссию о составлении нового уложения. 1767). Этой унификации написания способствовало и образование в 1781 году Уфимского наместничества. Для писателя С. Т. Аксакова, родившегося в 1791 году в Уфе, прилагательное *уфимский* стало уже единственно возможным; тем более оно было нормой для его сына, мнение которого цитировалось выше. Таким образом, можно утверждать, что современное написание слов *уфимский*, *уфимец* окончательно закрепилось в литературном языке к концу XVIII века.

Научное объяснение причины появления *м* на месте *н* в словах *уфимский*, *уфимец* находим у академика А. И. Соболевского: «По-видимому, мы имеем дело со своеобразной ассимиляцией — с ассимиляцией отделенных друг от друга губного и *н* [то есть с межслоговой ассимиляцией.— Е. Л.], закончившейся переходом *н* в *м*» (Мелкие

заметки по славянской и русской фонетике). Иными словами, *м*, как пишет А. И. Соболевский в другой своей работе — «Благозвучие в жизни языка», вытеснил в данном случае *н* «под влиянием губного *ф*», что и придало словам *уфимский*, *уфимец* ту звуковую гармонию, которая отмечена в середине прошлого века К. С. Аксаковым, а недавно К. И. Чуковским: «Язык отвергает всякую звуковую несладкую и требует — настоятельно требует — наиболее гармоничного сочетания звуков. Чтобы назвать жителя Баку, язык для благозвучия использовал суффикс со звуком *н*: баклинец. А чтобы назвать жителя Уфы, — суффикс со звуком *м*: уфимец. Всюду сказывается музыкальное ухо народа, не терпящего никакой какофонии» («Литературная газета», 6 октября 1962).

Вот еще примеры той же ассимиляции (уподобления одного звука другому), о которой писал А. И. Соболевский и которая действует в производных от географических имен: Брынь — брымский (пример Соболевского), с. Барда (Пермская обл.) — бардымский (Бардымский район), бардымец.

История слов *уфимский*, *уфимец* показывает, что в их производстве с самого начала участвовал обычный суффикс *-им-*, согласный звук которого изменился в *м*: при этом ассимилятивное воздействие звука *ф* было столь не безусловным, что понадобилось двести лет, чтобы эти слова бесспорно утвердились в их нынешнем звуковом облике. Поэтому нельзя говорить, что в современном русском именном словообразовании участвует суффикс *-им-*.

Прилагательное *уфимский* и существительное *уфимец* являются

словами, которые не отвечают типовым моделям литературного словопроизводства. Такие слова приходится держать в уме и — из памяти в память — передавать последующим поколениям.

Е. А. ЛЕВАШОВ
Ленинград

КИНЖАЛ

Слово *кинжал* давно уже вошло в русский литературный язык. Ипервые оно отмечено в «Рукописном лексиконе первой половины XVIII века», который недавно был издан Ленинградским университетом (1964). Первое толкование слова *кинжал* как остроконечного, короткого, к черенку широкого, обоюдоострого оружия дано в «Словаре Академии Российской» (СПб., 1789—1794). С этого времени слово не сходит со страниц толковых, этимологических и диалектных словарей, а в XIX веке под пером таких писателей, как Пушкин, Лермонтов, Л. Толстой, оно обретает «права гражданства» в языке литературы.

К истории и этимологии *кинжал* обращались многие известные исследователи. В конечном счете все авторы видели в нем арабо-персидское слово, проникшее в русский язык через тюркскую среду. Наиболее интересные суждения об этом слове были высказаны

Н. К. Дмитриевым и Е. К. Бахмутовой.

В письменных памятниках XVI—XVII веков и в русских народных говорах *кинжал* и производные от него встречаются в нескольких фонетических вариантах: кинжал, кинджал, кинжалец, чипжалище, цинбалище. Эти звуковые различия Е. К. Бахмутова справедливо объясняет тем, что слово могло проникнуть в русский язык одновременно из нескольких языков вместе с вещью. Поскольку оружие прежде всего завозилось из Персии, некоторые варианты этого слова связаны с персидским *ханджар*. «На основе многовариантности этой формы лишь в XVIII веке в связи с процессом становления единого литературного национального языка... возникает самостоятельная русская форма, фонетически не выходящая за пределы типичных для иранизмов в русском языке звуковых колебаний: заднеязычных *к—х*, плавных *р—л*, заменой аффрикат на шипящий...» («Ученые записки Казанского пединститута». Вып. 3. 1940).

Рассуждения Е. К. Бахмутовой о персидско-русских звуковых соответствиях, к тому же не доведенные до конца (ничего не сказано о мене *а* через *и*), не дают, на наш взгляд, оснований для выводов, к которым пришел автор. Нельзя согласиться и с тем, что оружие (в том числе и кинжалы) прежде всего завозилось из Персии. Данные языка, истории, этнографии свидетельствуют о другом.

Известно, что «в платье обряды» терских казаков «не сходны с великороссийскими» и что «они (терские казаки) на черкесский манер в чекменах ходят» (М. О. Косвен.— «Исторический архив», 1958, № 5).

Казачья форма почти полностью была заимствована у народов Северного Кавказа. Составной частью этой формы был кинжал, обоюдоострое, заостренное и прямое к концу холодное оружие, которое тем и отличалось от искривленного турецкого или персидского кинжала. Кинжалы эти изготовлялись в Дагестане и были предметом торговли с соседями (см.: С. Д. Бурнашев. Картина Грузии или описание политического состояния царства Карглинского и Кахетии. Курск. 1793). Есть сведения, что «кинжалы, лучшие по Кавказу, в Андреевском селении [ныне Андрей-аул Хасавюртовского района ДАССР.— А. С.] выделяются» (А. М. Бутковский.— «История, география и этнография Дагестана». Махачкала, 1958).

Профессор Н. К. Дмитриев тоже видел в слове *кинжал* исторически персидское *ханджар*, однако считал, что слово это было заимствовано русским языком из персидского, но через посредство тюркских языков Кавказа и Малой Азии, именно через кумыкский. Что касается времени заимствования, то, по мнению Н. К. Дмитриева, это произошло «в петровскую эпоху, когда русские подошли к Тереку и познакомились с кумыками» («Лексикографический сборник». Вып. 3. 1958).

Известно, что с покорением Астраханского ханства в 1556 году Россия выходит к Каспийскому морю и налаживает дружественные связи с народами, населяющими Северный Кавказ. По свидетельству советских историков, уже во второй половине XVI века были установлены дружественные русско-кумыкские отношения (см.: С. Гад-

живеа. Кумыки. М., 1961). К этому же времени относятся и наиболее ранние случаи употребления слова *кинжал* в русских текстах: «И положил Сунгул бек шахово жалованье на князя Андрея: кафтан камчат золотой, да саблю, да кинжал, а подъячему саблю» («Памятники дипломатических и торговых сношений Московской Руси с Персией». Т. 1. СПб., 1890). Кумыки — один из первых тюркских народов Северного Кавказа, с которым русские вошли в контакт и поддерживали оживленные торгово-экономические связи через Кизляр и Аксай — крупные центры по снабжению терских станиц одеждой, обувью, домашним скarbом и хозяйственным инвентарем. Они были ближайшими соседями русских, а в некоторых населенных пунктах проживали вместе с ними. Так, московский купец Ф. Котов, проходивший Терек в 1614 году, сообщал, что «на острове Чечень ловят рыбу терские люди и тарковские кумычане и горские черкесы» («Очерки истории Дагестана». Т. 1. Махачкала, 1957). В 1626 году терский воевода писал: «На Терек приезжают многие горские мурзы и уздени и их люди и живут на Тереке вместе с русскими людьми» (Е. Н. Кушева. Русско-дагестанские отношения XVI—XVII вв. Махачкала, 1954).

Лингвистические данные не противоречат сказанному. В тюркских языках Северного Кавказа интересующее нас слово встречается в виде *хынжал* (кумыкское), *хинджал* (карачаевское), *кынжал* (ногайское). Непосредственным источником заимствования слова *кинжал* могли быть кумыкский и карачаевский языки: ведь ногайцы заселили северокавказские степи только в XVIII веке. Если же судить по

историко-этнографическим и географическим данным, то можно думать, что русская форма *кинжал* скорее всего восходит к кумыкскому. При этом в русском языке слово подверглось фонетическому изменению, которое заключалось в замене *х* на *к* (ср. областное *коровод* и литературное *хоровод*, *курма* и *хурма*) и *ы* на *и*, поскольку в русском языке были невозможны сочетания *кы*, *гы*, *хы*.

Таким образом, слово *кинжал* было заимствовано еще в XVI веке из кумыкского языка терскими казаками, из речи которых оно позже проникло в русский литературный язык.

А. А. СЕЛИМОВ
Махачкала



«Челом бью до лица земного...»

«Письма пишут разные,— заметил поэт,— слезные, болезные, иногда прекрасные, чаще бесполезные». Но эта поэтическая классификация ни в коем случае не распространяется на письма прошлого. Когда нас отделяет несколько лет (а тем более века!) от событий, о которых повествуется в письмах, они уже не могут быть бесполезными. Свидетельство этому — частная переписка XVII века, наиболее ранние дошедшие до нас семейные архивы.

Язык писем интересен прежде всего своим причудливым переплетением стилей: это и деловая речь с ее освященными традицией стилистическими трафаретами, и живая разговорная речь. Письма XVII века были, конечно, более трафаретны, чем современные. Наши предки более строго соблюдали правила составления писем. Правила эти, несомненно, существовали; были даже образцы. Так, в сборнике Археографической комиссии за 1862 год опубликованы «Формулы писем и просьб» начала XVI века. Митрополит всероссийский Иона учит свою паству, как «написать святителю, коли кого назовуть невернымъ христианином». Он приводит образец, где проставлено даже имя, от кого написано прошение (подразумевалось, что его нужно заменить). Правда, это скорее образец челобитной, чем письма.

А вот опубликованный Д. С. Лихачевым небольшой письмовник второй половины XVII века (не позднее 1669 года), содержащий два образца любовных писем. В них интересно смешение старой библейской образности с новой «галантностью». Приводим первый образец, в котором автор письма пытался выдержать стихотворную форму:

Море мысленное всегда волнуется,
И от волн его корабли сокрушаются.
Темность облачна закрывает свет сердечный,
Разлучение же от тебя наносит мрак вечный.
Огнены столп пути к тебе не являет,
Фараону подобно яко в море потопляет.
Аще не приидеши ко мне в приятности,
Не могу стерпеть великия печальности.

Вслед за вторым посланием «К добродею моему» помещена выписка из письма митрополита, которое привлекло составителя

письмовника тем, что оно «философски написано». Существовали и образцы писем, содержащих «поношение» адресатов: «Непостоянному другу с посмехом», «К другу с лаею». О том, как нужно было писать письма, поведал нам и князь Андрей Курбский в своем ответе на письмо Ивана Грозного.

Известно, что князь Курбский, бежав в Литву, решил написать письмо Ивану IV. При этом он стал уже перед выбором обращения. Кто был для него, изменника, царь Иван Васильевич?! И он нашел язвительно остроумный выход: «Царю отъ Бога препрославленному, паче же во православии пресветлому явившуся, ныне же, грех ради наших супративъ симъ обретцемуся». Очень «веле-речиво», с многочисленными библейскими аналогиями, обвиняет он Ивана IV: «Про что, царю, сильныхъ во Израили побилъ еси?».

Иван Грозный ему ответил. Во второй «эпистолии» излилась вся его душа, «страдающая и бурная». Для оправдания своей политики он тоже прибегал к пространным литературным, историческим и библейским аналогиям, но время от времени прерывал их восклицаниями, идущими уже не от ума, а от сердца: «Что же, собака, и пишешь и болезнуеши, совершив такую злобу» или «Къ чесому убо советъ твои подобень будетъ, паче кала смердяи». Курбский решил поиздеваться над стилем царского письма. В своем ответе он называет «писание» Ивана Грозного «широковещательным и многошумящим»; оно, оказывается, страдает смещением стилей, несдержанным тоном, излишним цитированием («но зело паче меры приизлишно и звягливо, целыми книгами и паремьями целыми, и посланьями»), а главное — «тут же о постеляхъ, о телогреяхъ», «воистину, яко бы неистовых бабъ басни». И вообще постыдился бы царь так писать в чужую просвещенную страну!

У нас есть и образцы писем, написанных по всем правилам шаблон XVII века. Это переписка царя Михаила Федоровича Романова с отцом, патриархом всея Руси Филаретом. Несмотря на такое близкое родство корреспондентов, письма их ни в коем случае нельзя назвать частными. Оба они занимали слишком высокое положение, чтобы их переписка была на самом деле частной. Велась она, конечно, через писцов-профессионалов, применявших установленные традицией торжественные формулы и обороты. Переписывались они во время паломничества царя в Троице-Сергиеву лавру: за шесть дней пути успевали написать друг другу пять-шесть писем, а паломничество в лавру Михаил Федорович совершал почти каждое лето. На протяжении всей этой довольно обширной переписки мы не встретили ни одного отступления в зачине и концовке писем. Будничные человеческие чувства закованы здесь в панцирь торжественного стиля.

«Яко в пучине бо морстей жалости наша, яже о тебе, драгий наш отец, волнуемся и презелными волнами жалости наша ударем есмы» — так царь выражает свою тревогу по поводу болезни отца. Вот уж действительно, как в морской пучине, в нагромождении церковнославянских тяжеловесных словосочетаний и искус-

ственных метафорических оборотов тонет выражение искреннего сыновнего чувства.

По-настоящему частные письма даже цари писали живым разговорным языком. Свидетельство этому — письма «Великого князя всея Руси Василья Ивановича жене моей Олене», относящиеся к XVI веку. Из XVII столетия до нас дошло только одно такое письмо. Это письмо царя Алексея Михайловича к стольнику Афанасию Ивановичу Матюшкину. В начале его нет традиционного обращения, это скорее адрес: «От царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси стольнику нашему Афанасью Ивановичю Матюшкину». В письме говорится о страсти царя — соколиной охоте. Алексей Михайлович («тишайший») сумел донести даже до нас азарт своего охотничьего сердца. Царь поехал «отведовать на Васильевъ прудъ» сокола Мадину. Сокол с честью выдержал испытание: завидев утку, плавающую по пруду, «и милостию Божиею и твоими молитвами и счастьемъ, как ее мякнетъ по шее, такъ она десятью перекинулась, а он ее так заразиль, што кишки вонъ». Заканчивал царь письмо словами: «Будь здоровъ во веки».

Это единственный пример частной переписки «особ царского семейства» в XVII веке. Недавно в издательстве «Наука» вышла книга «Московская деловая и бытовая письменность XVII века» (М., 1968). В первом разделе ее собрано сразу 57 писем частных лиц из Москвы. Написаны они почти все в 1677 году, в переписке участвовало несколько корреспондентов.

Когда мы читаем эти письма, «слезные, болезненные и бесполезные» послания, перед нами встает Москва XVII века, та Москва, о которой мы никогда не узнаем со страниц учебника истории. Письма эти представляют интерес для языковедов как бесценные памятники московской разговорной речи. Нас интересуют здесь письма как таковые. Конечно, хоть это и сугубо житейские письма, в них есть свои штампы; сравнив письма разных корреспондентов, мы убеждаемся, что штампы эти в каждом случае индивидуализированы, зависят от того, к кому обращены письма и кем они писаны.

Большинство из них взято из архива князей Голицыных. Князю Голицыну, находящемуся на «государевой службе», пишут родственники. Самый старый из корреспондентов — мать князя. Начала ее писем («свету моему кнзю Василю Василевича буд на тебе свет мой млсть бжия и мое грешное блгословение отние и до века здравствуй свет мой» и т. д.) и концовки («будь на тебе светъ мой млсть бжия и мое грешное блгословение отние и до века») самые обширные и трафаретные. Одними и теми же словами общается она каждый раз семейные новости: «А про меня свет мой похощъ ведать и про невеску и про дети и мы на Москве живы до воли бжии».

А вот вечная тема — волнения матери за сына, уходящего на войну: здесь и обращения к богу, и просьба быть осторожнее, и даже наивные советы, как вести себя с врагом. Эти два письма

отличаются напевностью и ничего общего с трафаретами не имеют: «И то свет мой я слышала, что тебе велено по вестям глядечи итти в Белгород и мое свет мое сердце о том сокрушилось, что идешь в такую дальную дорогу с малыми людьми и ты свет мой поиди проведаячи и не попадися свет мой неприятелем в глаза».

И так в каждом письме: несмотря на трафареты, виден человек, его характер, его большие и малые радости. Мать князя Голицына пишет с большим достоинством, жена — с некоторым уничижением. Зачины и концовки ее писем сходны с зачинами и концовками писем холопов князей Голицыных: «Гсдрю моему князю Василию Василевичу женишка твоя Дунка много челом бьет». Сын князя Голицына к этой фразе добавляет: «благословения прося». Несколько писем сына к князю похожи одно на другое, как две капли воды, после обращения он сообщает домашние новости, всегда в строгом порядке: «А изволишь гедрь мой батюшка ведать про здореве гедрни моеи бабушки и про здореве гедря моего дедушки» и т. д., пока не перечислит всех родственников; конец писем тоже одинаков: «Спишко твои Алешка благословения прося и мног челом бью». И вдруг после нескольких таких безликих посланий прорывается сокровенное: «Гсдрь мой батюшко промысли мне инохотчика на чем мне за гедрем в походы ездит».

Письма самого князя В. В. Голицына очень интересны. Они не так однообразны с точки зрения стиля, как письма его домочадцев. Вот письмо его С. Б. Хитрово, с которым его связывали чисто деловые отношения: «Гсдну Степану Богдановичу, Василеи Голицын челом бьетъ», а вот обращение к товарищу по службе: «Тихон Микитич, гедрь, многлетно здравствуй». До этих пор такое знакомое нам «здравствуй» мы почти не встречали в письмах той эпохи, а если и встречали, то в конце письма. Вероятно, это пожелание тогда не было закреплено за началом письма, как сейчас. Например, в письмах патриарха Никона к царю Алексею Михайловичу это традиционная концовка: «Здравствуйте, государи», «Здравь буди, святыи царю».

Очень интересна и переписка стольника Д. В. Михалкова. Показательно, как ярко проявляется здесь индивидуальность автора. В письмах Михалкова мы находим сплошь деловые советы и просьбы. Он даже традиционные начала и концовки наполняет просьбами: «И от меня тебе Маремянушка великий поклонь... отне и до веку и ключ тово ящика кедрового не забыть послать». «Да вели вино сидеть неоплошно и не мешкав», — обращается он к жене, а сыну, «крошинке маленькой», пишет: «Да скажи Пронюшка матушке своей, чтоб велела вина сидет три браги тотчас не мешкав». Наконец, приказывает старосте: «Да который час ся грамотка придет к вамъ велено вино готовит тотчас не мешкав». Обращает на себя внимание, что письма стольника жене и сыну начинаются одинаково — пожеланиями здоровья: «штоб мне слыша о вашемъ здареве радостну быт», а в письме его к старосте нет уже этого традиционного обращения, стольник просто конста-

тирует: «Мы на Москве дал бгъ здорово», а дальше идут хозяйские распоряжения, и концовка вообще отсутствует. И уже третий стиль этого корреспондента — в письме-просьбе к княгине А. И. Хованской, под начальством мужа которой стольник состоял. Начало письма очень витиеватое, с многократно повторенным выражением «челом бью», которое встречается и в конце письма: «О семь тебе гедря много челом бью до лица земаго».

Традиционной была и сама композиция письма. Письма столетиями писались в одной и той же последовательности. В них были обязательны, за небольшими исключениями, следующие компоненты:

Обращение

Челобитье автора письма в уничижительной форме

Пожелание здоровья адресату

Просьба сообщить о здоровье автора письма

Сообщение автора письма о себе

Концовки

Этот порядок написания писем, освященный веками, сохранился в какой-то степени донныне. До сих пор мы сообщаем учащимся V класса, что письмо пишется по следующему плану:

1. Приветствие и обращение.
2. Изложение того, что хочешь написать, вопросы о том, что хочешь узнать.
3. Заключение.
4. Подпись.

Таким образом, композиция письма дошла до нас в основном неизменной через века. Что касается стилистических трафаретов, то мы стараемся избавиться от вычурных и тяжеловесных штампов в письмах. И все-таки некоторая часть населения «формулами письма» пользуется до сих пор. В фильме «Отчий дом» есть сцена: в городскую семью приходит письмо из деревни. Какой незнакомой жизнью повеяло от многочисленных поклонов и пожеланий!

Вполне понятно наше стремление освободиться в письмах, да и вообще в официально-деловой речи от наследия дореволюционных канцеляристов. Но не заходим ли мы в этом отношении порой слишком далеко? С сожалением приходится наблюдать, как в устной речи старое, такое торжественное и красивое обращение «здравствуйте» вытесняется безликим «привет». Но пусть в письмах и нашему традиционному зачину «здравствуйте» и концовке «до свидания» суждена будет долгая жизнь.

Л. А. СЕНИНА

учительница

г. Мытищи Московской области

Каждый из нас так или иначе имеет дело с письмом, то есть с передачей звуков речи специальными знаками — буквами — на специальном писчем материале. В наше время основной писчий материал — бумага, но есть и другие материалы, которые могут быть использованы для нанесения письменных знаков. Можно писать на камне, металле, дереве, тканях. Но, как свидетельствуют пословицы и поговорки, нельзя писать на воде и неразумно писать на песке.

В современном письме слова, понятия, мысли слагаются из сочетаний букв, соответствующих сочетаниям определенных звуков речи. Но письмо не всегда было буквенным. В древности для передачи сообщений сначала служили рисунки, потом все более и более стилизованные изображения — иероглифы и другие знаки. Они не обозначали отдельных звуков человеческой речи и передавали небольшие рассказы-сообщения, самостоятельные мысли или отдельные понятия. Минимальной единицей в этих случаях, передававшейся с помощью такого письма, было слово или его составная часть, заключающая более или менее целостное понятие. Но дальше мы будем говорить только о письме буквенном. В нем письменный знак, как правило, передает определенный звук человеческой речи, иногда — сочетание звуков или составную часть звука.

Известное современной науке русское и древнее славянское письмо было уже буквенным. Правда, до нас дошли сообщения русских летописей и древних авторов о том, что славяне раньше писали «чертами и резами». Но «черты и резы» либо не сохранились вообще, либо до сих пор не квалифицированы как знаки письменности, поскольку имеющие вид орнамента на обнаруженных при археологических раскопках вещах и другие древние «загадочные знаки» еще не расшифрованы и пока не могут быть приняты за знаки письменности.

Буквенное письмо — как современное, так и древнее — характеризуется определенной графикой и орфографией.

Графика — это изображение звуков речи письменными знаками и сами начертания этих знаков. Можно сказать также,

что графика какой-либо письменности — это знаки, имеющие определенные начертания. Русской графикой мы овладеваем в первом классе школы и обычно не задумываемся над содержанием этого термина и даже не употребляем его (не следует путать его со словом *графика*, обозначающим вид изобразительного искусства). Другое дело — орфография. Когда речь заходит об орфографии, о правилах правописания, это понятно всем и вызывает грустную улыбку многих. В самом деле, если графикой мы овладеваем в течение нескольких месяцев, то орфографию изучаем много лет, а некоторым она доставляет мучения «до седых волос». В начальной школе мы занимаемся еще и каллиграфией, чистописанием. Каллиграфия — искусство писать красивым (по понятиям каждого определенного времени) почерком. К каллиграфии относятся вопросы соразмерности между собой отдельных букв и их частей.

С течением времени меняются представления людей о красивом и некрасивом письме. Это связано прежде всего с изменением орудий и самих способов письма. Например, при письме гусиным пером (до середины XIX века) и обмакивающимся в чернила металлическим пером можно было устанавливать каллиграфические нормы на соотношениях волосных и жирных линий, образующихся при меньшем и большем нажиме пера на бумагу. Но при письме современным «вечным» пером, тем более шариковой ручкой, нет возможности противопоставить волосные и жирные начертания, а поэтому изживают себя в своем прежнем виде каллиграфия как мастерство и чистописание как предмет.

Начертания букв в почерке каждого человека могут варьироваться. Однако варьирование должно оставаться в разумных пределах, чтобы написанное оставалось понятным и самому пишущему и читателю. В начальной школе, даже при отсутствии чистописания как особого предмета, учат строго установленным нормам начертания каждой буквы. Но с течением времени почерк человека меняется. Необходимость ускорения письма, индивидуальные соображения о красивости и некрасивости определенных начертаний или, наоборот, пренебрежение эстетической стороной собственного письма, изучение графики иностранных языков, более или менее частое обращение к письму пером (известно ведь, что одни люди пишут чаще, другие — реже, но и пишущие много иногда предпочитают пользоваться машинкой) и другие причины порождают новые или видоизмененные начертания в нашем индивидуальном письме.

В некоторых школах изначально обучают нескольким графическим вариантам в начертаниях букв. Например, в современных прописях для французских школьников с самого начала обучения даются по два варианта для четырех прописных букв (см. рис. 1). В современных русских школьных прописях

такого рода варианты не предусмотрены. Однако еще недавно в них были представлены два начертания для буквы *д* (см. рис. 2).

Орфография, или правила правописания, тоже не остаются неизменными. Все знают, что одним из первых законодательных актов Советского государства был декрет о введении новой орфографии, изданный 23 декабря 1917 года Народным комиссариатом просвещения и подтвержденный 10 октября 1918 года декретом Совета Народных Комиссаров. Эта реформа упростила многие правила дореволюционной орфографии, например отменила написание буквы *ъ* на конце слов после твердых согласных и шипящих; установила единое написание *они* для формы 3-го лица множественного числа местоимений вместо двух написаний *они* и *онѣ* (последнее употреблялось для слов женского рода); узаконила русские окончания *-ого* для прилагательного и местоимений мужского и среднего рода в родительном падеже единственного числа (*длинного* вместо *длиннаго*) и др.

Но еще больше реформа 1917 года затронула русскую графику. Некоторые буквы были вообще упразднены. Отменены традиционно сохранявшиеся в русской графике буквы, унаследованные от древней старославянской азбуки и связанные во многом с ее основным источником — греческой азбукой IX—X веков. Они не передавали каких-либо особых звуков русской речи. Это, во-первых, буква *і* (*и* десятиричное). Когда-то в старой славянской цифири она обозначала число 10 (отсюда ее название), но всегда передавала тот же звук, что и буква *и* (восьмеричное), обозначавшая число 8. В последние века ее употребления букву *і* стали писать только перед буквами, обозначающими гласные звуки. Была упразднена также буква *ѣ* (фита), которая соответствовала греческой *ϕ* и употреблялась в заимствованных словах. Например по дореволюционной орфографии надо было писать: Филиппъ, Финляндія, Флоренція, филинъ, но Ѳедоръ, Ѳедотъ, Ѳома, Ѳемида, Ѳивы, Ѳеодосія, Ѳракія, Ѳукидидъ, ариеметика и т. д.

Тогда же была упразднена буква *ѣ* (ять). В далеком прошлом она передавала особый звук русской речи, но до нашего времени этот особый звук сохранился лишь в немногих диалектах (в говорах к северу от Рязани, например, *ѣ* особо звучит и сейчас). В русском литературном произношении старый звук *ѣ* и *е* давно совпали в одном; однако по традиции надо было писать: рѣка, лѣсъ, свѣтъ, лѣто, бѣда, бѣлый, но весна, день, земля и т. д. В дореволюционной орфографии существовали многочисленные правила употребления буквы *ѣ*. Они были трудны учащимся, так как не отражали современного литературного произношения.

Известны и более ранние упрощения русской и славянской графики. Так, Петр Первый ввел новую, так называемую «граж-

Ѧ ou ѧ

g d

Рис. 2

Ѧ ou ѧ

ННННН

ННННН

XI в. XII в. XIII в. XIV в. XV в.

Рис. 3

Ѩ ou ѩ

Ѧ ou ѧ

Рис. 1

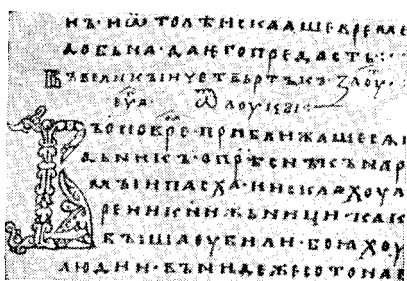


Рис. 4

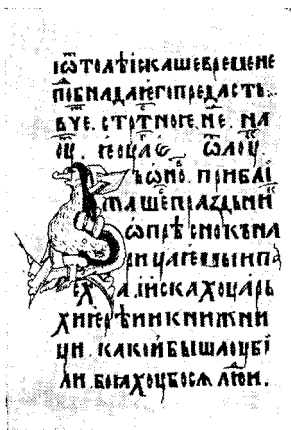


Рис. 5

данскую» азбуку. По сравнению с существовавшей ранее, в ней были упразднены буквы «кси», «пси», «зело», «омега» и «юсы». Из них первые четыре искони передавали числа (соответственно 60, 700, 6, 800), а буквы «кси» и «пси» — также звукосочетания *кс* и *пс* в заимствованных словах. Юсы же когда-то отражали древнейшие носовые гласные славянской речи, подобные современным французским или польским носовым звукам. Они были придуманы изобретателем славянской азбуки Константином-Кириллом Философом в середине IX века для старославянского языка, в котором еще были носовые гласные. На восточно-

славянской почве юсы не обозначали особых звуков речи уже в период перенесения на Русь старославянской письменности в X веке.

После петровской реформы постепенно вышла из употребления и буква «ижица», которую писали иногда на месте звука *и* в соответствии с греческим «ипсилоном» *ν* в словах: типъ, лира, гимнъ, миеъ и некоторых других.

Наряду с упрощением графики происходит обратный процесс. Звуковые изменения вызывают необходимость отразить новое произношение, а для этого создаются новые буквы (как правило, путем видоизменений старых начертаний). Так появились, например, в русской графике буквы *ѣ* и *ѥ*. Первая стала служить для обозначения нового звука, возникшего с XIV века в результате изменения *е* в *о* под ударением перед твердыми согласными; вторая для звука *ј*, оставшегося не обозначенным после исчезновения редуцированного (очень краткого) звука *ь* в сочетании *јь*, которое раньше передавалось буквой *и*. Сравнительно поздно появилась в русской графике буква *э* (старое перевернутое *е*; см.: «Русская речь», 1969, № 4).

Изменения в графике связаны с практикой письма и рано или поздно находят отражение в меняющихся правилах орфографии. Некоторые средневековые орфографисты рекомендовали писать слово *пес* в косвенных падежах через две буквы — *пс*: *пса*, *псу*, *псомъ* и т. д., а слово *писать* (писать) — через особую букву «пси». Так же рекомендовалось писать слово *очи* через букву *о*, имеющую внутри точку. В древнем Новгороде, как можно судить по письму некоторых берестяных грамот и пергаменных книг, в XIII веке изгонялась буква *ѣ*, а вместо нее даже неправильно в числовом значении (500) употреблялась буква *ѥ* (или лежащее на боку *ѣ*), обозначавшая ранее не только тот же звук *ѣ*, но и другое число — 9.

Таким образом, графика существует сама по себе, как буквенные знаки той или иной письменности. Но употребление этих знаков в определенных случаях регламентируется и тем самым начинает относиться к сфере орфографии.

Элементы графики каждой письменности — буквы, разделительные и надстрочные знаки — с течением времени претерпевают изменения не только по их отношению к звукам речи. Они меняются и сами по себе, в своих начертаниях. Наиболее наглядно это можно показать на буквах *н* и *и*.

На рисунке 3 показано параллельное изменение начертаний букв *н* и *и* с XI по XIV век (первые четыре буквы) и позднее. Возможно, эти начертания были бы иными, если бы русским писцам не было необходимо различать обе буквы, обозначающие совершенно разные звуки. Впрочем, изменение положения перекладин в них было связано не столько со сходством обеих букв, сколько с общим изменением типа письма, с закономерностями

развития графики. Так, буквы XI и начала XII века можно охарактеризовать как квадратные: высота и ширина в них были примерно одинаковы. С течением времени буквы становились более удлиненными, ширина их сокращалась по отношению к высоте (возможно, это было связано с необходимостью экономить дорогостоящий материал для письма — пергамен, выделявавшийся из шкур животных). Ко второй половине XIV века на Руси складывается новый стильный почерк с сильно удлиненными буквами и завышенными перекладинами. Он отличался от почерка наиболее ранних сохранившихся до нашего времени памятников (например Остромирова евангелия 1056—1057 годов, см. заметку А. С. Львова в «Русской речи», 1968, № 4) не только удлинением букв, но и расположением так называемой сигнальной линии, которую как бы ведет наш зрочок, следя за основными различительными элементами начертаний букв.

В основных наших современных (не стилизованных) шрифтах, в том числе и в шрифте, которым напечатана эта статья, сигнальная линия проходит, как и в XI веке, по середине высоты букв, размещенных на строке. Ср., например, буквы: а, в, е, ж, з, и, к, н, о, с, ф, х, ч, ы, э, ю, я, прописные: А, Б, В, Е, Ж, З, И, К, Н, О, Р, С, Ф, Х, Ч, Ы, Э, Ю, Я, а в известной мере также: м, М, у, У. В верхней части выявляется лишь различие букв т — г, ь — ъ, и — й и особенность буквы б; в нижней — различие л — д — п, ш — щ и особенность буквы р; в верхней и нижней — различие п — ц.

Также посередине проходила сигнальная линия в почерках XI—XII веков у букв: а, б, в, е, ж, и, к, м, н, о, с, ч, ъ, Ѧ-и часто употреблявшихся так называемых йотированных букв: ѡ, ѣ, ю. Из последних до нашего времени сохранилась в сравнительно неизменном виде только буква ю. Часто употребляемые буквы с перекладинами делали особенно отчетливой эту сигнальную линию в почерках средневековья. Так, в конце XII и особенно в XIII веке русские писцы несколько видоизменили начертания отдельных букв. Изменилось, в частности, место размещения перекладки: в разных буквах они располагались на разной высоте, а в букве ю соединительная перекладка и язычок буквы перестали составлять одну линию, так как перекладка поднялась и ее стали писать наклонно, а язычок остался на прежнем месте, посередине полуовала правой части буквы. Ко второй половине XIV века поднимаются все перекладки, сокращаются головки у букв ч, ж, причем у ж правый и особенно левый верхний уски сокращаются до точки. Вместе с общим завышением букв по сравнению с их шириной создается новый стильный тип почерка (ср. рис. 4 — почерк Архангельского евангелия 1092 года и рис. 5 — почерк рукописи того же содержания, написанной в 1393 году и хранящейся в Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде).

В конце XIII века в некоторых школах письма стали употреблять начертания букв Б, В, Ъ, Ь, Ъ, Ъ с набухшими нижними петлями, а перекладины у букв, имеющих их, становятся более высокими.

Изменения в графике на протяжении веков были столь существенны, что позволили специалистам говорить о трех совершенно разных типах письма: уставе, полууставе и скорописи.

Древним и средневековым письмом в его развитии занимается специальная наука — палеография. Она изучает не только сами буквы и диакритические надстрочные знаки, но также материал и орудия письма. Практические задачи палеографии сводятся главным образом к определению времени и места написания рукописей, из текста и содержания которых мы не можем установить, когда и где они были написаны.

Итак, мы познакомились с некоторыми терминами, относящимися к буквенному письму и имеющими в своем составе корень *-граф-* (от греческого *grapho* 'пишу'). Из них в словах *орфография* и *каллиграфия* второй компонент *-графия* обозначает их принадлежность письму как таковому. Но в слове *палеография* этот компонент несет двойную смысловую нагрузку. С одной стороны, он показывает, что термин *палеография* обозначает нечто, относящееся к письму, причем к письму древнему (первый компонент этого слова происходит от греческого *palaios* 'древний'; его же легко обнаружить в словах: палеолит, палеонтология, палеозойская эра, палеоазиатский и др.). С другой стороны, компонент *-графия* в слове *палеография* обозначает, что речь идет о науке (ср. география, петрография, океанография, космография, этнография и т. п.). Следовательно, чтобы говорить точнее, надо было бы образовать слово *палеографография*: ведь если понимать буквально, то палеография должна была бы называть науку о древностях вообще. Но не будем буквоедами... Палеография — это именно наука, изучающая особенности древнего и средневекового письма.

Кандидат филологических наук
Л. П. ЖУКОВСКАЯ



Синтаксический разбор предложения включен в экзамен по русскому языку и литературе (устно). Экзамен этот, как записано в «Правилах приема в высшие учебные заведения СССР», утвержденных Министерством высшего и среднего специального образования СССР, должны сдавать поступающие в вузы со следующими профилирующими специальностями: филология, педагогика, психология, история, философия, правоведение, библиотековедение, искусство и культура, международные отношения.

Статью о морфологическом разборе см. в № 3 нашего журнала за 1970 год.

Текст, который надо разобрать на экзамене, может состоять из одного сложного по составу предложения или из нескольких. Знаки препинания бывают пропущены. Требуется поставить их, разобрать предложение и объяснить, почему необходим именно этот знак. Таким образом, необходимо правильно осмыслить содержание, понять синтаксическую структуру всего высказывания, а для этого установить, из каких частей оно состоит и как они связаны между собой.

На примере отрывка из повести А. П. Чехова «Степь» покажем, как и в какой последовательности надо производить разбор, на что следует обратить особое внимание, какие трудности могут возникнуть в процессе работы.

В то время, как Егорушка смотрел на сонные лица, неожиданно послышалось тихое пение. Где-то не близко пела женщина, а где именно и в какой стороне, трудно было понять. Песня, тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел. Егорушка оглядывался и не понимал, откуда эта странная песня; потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава; в своей песне она, полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее напрасну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя...

В тексте четыре предложения. Они неодинаковы по степени сложности и по характеру связи между отдельными их частями. Все предложения в отрывке сложные. Как приступить к анализу сложного предложения?

Необходимо установить, каков характер связи между частями сложного предложения. Существует два основных типа синтаксической связи: сочинительная и подчинительная. В соответствии с этим сложные предложения делятся на сложносочиненные и сложноподчиненные.

В сложносочиненном предложении каждая из его частей может представлять собой отдельное высказывание, содержащее относительно законченную мысль. Предложения, входящие в состав сложносочиненного, связываются между собой при помощи сочинительных союзов: их необходимо знать — это исключает возможность ошибок при определении типа сложного предложения.

Сочинительные союзы обычно делят на три группы в соответствии с теми отношениями, которые они выражают: 1) соединительные и присоединительные (и, и — и, ни — ни, да, да и, тоже, также); 2) противительные (а, но, однако, зато, не только — но и); 3) разделительные (или, либо, то — то, не то — не то, то ли — то ли, или — или, а то, а не то, не то).

Сочинительные союзы не входят в состав предложений, а лишь соединяют их в единое целое.

В нашем отрывке сочинительные союзы, которые связывают предложения, встречаются дважды: во втором предложении и в четвертом. «Где-то не близко пела женщина, а где именно и в какой стороне, трудно было понять». Если упростить порядок следования частей предложения и ввести некоторые возможные по смыслу слова, то получится: «Где-то не близко пела женщина, а [но, однако] трудно было понять, где именно и в какой стороне [женщина пела]». Союз *а* употреблен в противительном значении, он близок по смыслу к союзам *но*, *однако*. Сочинительный союз связывает две части сложного предложения: к первому предложению присоединяется сложноподчиненное, в котором главная часть «трудно было понять», а придаточная — «где именно и в какой стороне». Это так называемое придаточное изъяснительное.

Основная особенность структуры таких предложений состоит в том, что в главной части обычно отсутствует или подлежащее или дополнение, без которого смысл одного из членов главного предложения остается неполным, нераскрытым. Здесь придаточная часть выполняет роль дополнения при безличном сказуемом главной части: трудно было понять — что? — где именно и в какой стороне пела женщина. Придаточная часть остается неполной, потому что главные члены первого предложения, входящего в состав всего сложного целого, их смысл уже ясен, и в придаточной части повторение этих слов было бы излишним.

Вот второй случай сочинительной связи между предложениями:

«вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клаясь...». И здесь союз выражает противительные отношения между частями сложного предложения.

В составе сложноподчиненного предложения различают, как мы знаем, главную часть и придаточную. Придаточная часть поясняет главную, она не может быть отдельным, самостоятельным и законченным высказыванием. Подчинительные союзы тоже делятся на группы в зависимости от тех отношений, которые они выражают. Это могут быть союзы, выражающие отношения временные (когда, после того как, по мере того как, пока, как только и др.), места (где, куда, откуда), причины (потому что, оттого что, так как) и многие другие. Все эти союзы включаются в придаточную часть сложноподчиненного предложения и нередко становятся членами этого предложения, переходя при этом в разряд союзных слов: «Я знаю, что он рассказал тебе о нашей беседе» (что — союз); «Я знаю, что он тебе рассказал» (что — союзное слово).

Часто возникают затруднения при определении типа придаточного предложения. Во многих случаях определить его только по значению союза или союзного слова бывает невозможно. Например в этом случае: «Егорушка оглядывался и не понимал, *откуда* эта странная песня». Несмотря на то, что союз имеет пространственное значение, все предложение такого значения не выражает, потому что оно относится к сказуемому *не понимал* и отвечает на вопрос — чего? Это изъяснительное придаточное предложение, а не придаточное места, как могло показаться на первый взгляд.

Чтобы правильно определить тип придаточного, необходимо, следовательно, учитывать: 1) к какому слову главного предложения оно относится, 2) на какой вопрос отвечает, 3) каков характер и значение союза. Только в двух случаях невозможно поставить вопрос к придаточному предложению, потому что оно относится не к отдельному слову в главном, а ко всему главному предложению в целом: в предложениях с придаточным следствия и придаточным присоединительным: «А, зная, он ей понравился, что звала его» (Тургенев. Бежин луг); «С утра над морем стояли огромные белые облака, что всегда было верным признаком перемены погоды».

Особое внимание надо обратить на придаточные изъяснительные. К ним относятся такие предложения, которые раскрывают смысл, «изъясняют» какое-либо слово главного предложения. Раньше школьная грамматика такие предложения относила к придаточным дополнительным, придаточным сказуемым и придаточным подлежащим.

В нашем примере в составе последнего предложения, очень сложного по составу, есть еще несколько придаточных изъяснительных:

«...потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что эта пела трава» — здесь два придаточных предложения — временн, которое относится к слову *потом* и поясняет это обстоятельство времени (когда он прислушался), и изъяснительное, которое по-

ясняет сказуемое главного предложения: ему стало казаться — что? — что это пела трава.

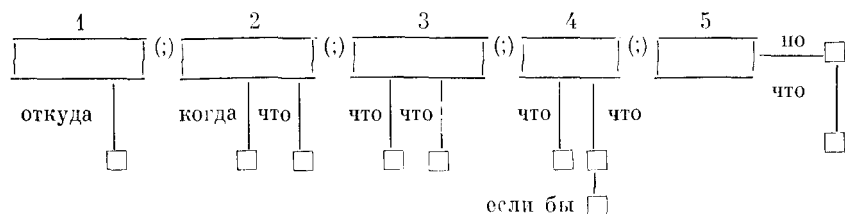
«...в своей песне... она убеждала кого-то, что она ни в чем не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну». Оба эти изъяснительных предложения относятся к глаголу *убеждала* и отвечают на вопрос — в чем? Такая связь придаточных предложений с главным носит название соподчинения.

«...она уверяла, что ей страшно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой...». Точно такой же случай: два соподчиненных изъяснительных придаточных поясняют глагол *уверяла* и отвечают на вопрос — в чем?

«...вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя...».

Первые два предложения связаны сочинительной связью (союз *но*). Второе предложение имеет при себе придаточную изъяснительную часть, поясняющую глагол *клялась*. Придаточное предложение отвечает на вопрос — в чем?

Последнее предложение в тексте представляет собой так называемое усложненное предложение: в его состав входит несколько самостоятельных предложений, связанных бессоюзной связью. Каждое из них в свою очередь — сложное предложение с одним или несколькими придаточными, а в одном случае — с сочинением и подчинением. Общая схема этого предложения выглядит так:



После того как определены основные типы предложений и установлен характер связи между частями сложных предложений, надо разобрать по составу простые предложения, которые часто бывают осложнены рядами однородных членов или обособленными членами предложения. Так, в нашем примере, в третьем предложении, есть два ряда однородных членов — однородные определения и однородные обстоятельства места:

Песня, тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью поился невидимый дух и пел.

Мы скажем сначала, что это сложноподчиненное предложение с придаточным сравнения, а затем перейдем к разбору каждого из предложений.

В главном предложении разные по значению определения объединены в ряд обособленных однородных определений по общему для них смысловому признаку — все они определяют характер впечатления, которое производила эта песня. В числе определений

есть и такие, которые выражены не одним словом, а словосочетанием (похожая на плач) и даже причастным оборотом (едва уловимая слухом).

Другой ряд однородных членов в главном предложении связан повторяющимся разделительным союзом *то — то*: то справа, то слева, то сверху, то из-под земли. В придаточном предложении однородные сказуемые: носился и пел.

Однородные члены так же, как и сложносочиненные предложения, могут быть связаны сочинительными союзами. Однако ряд однородных членов не представляет собой в синтаксическом отношении структурно законченной части. Так, при однородных сказуемых — обычно одно подлежащее, а при однородных подлежащих — одно сказуемое. Это необходимо учитывать, чтобы не принять ряд однородных членов за сложное предложение.

Предложения могут быть осложнены и всякого рода обособленными оборотами. Это могут быть деепричастные или причастные обороты, обособленные определения или обстоятельства. В предпоследнем предложении нашего отрывка определения обособляются, потому что они выражены прилагательными и причастиями с зависимыми словами и стоят после определяемого слова. Точно такого же типа определения: «в своей песне она, *полумертвая, уже погибшая*, без слов, но жалобно и искренно убеждала кого-то...». Все случаи обособления должны быть обязательно отмечены при разборе.

И, наконец, последнее, на чем необходимо остановиться — это разбор по членам предложения. Следует определить главные и второстепенные члены и установить способы их выражения. Часто допускают ошибки в определении членов предложения: смешивают такие понятия, как член предложения и часть речи. При этом забывают, что часть речи — это понятие, относящееся к морфологии, а член предложения — понятие синтаксическое. В зависимости от той роли, которую выполняет слово в предложении, различают главные члены — подлежащее и сказуемое и второстепенные — дополнение, определение и обстоятельство. Каждый из этих членов предложения может быть выражен разными частями речи: подлежащее может быть выражено существительным, прилагательным, местоимением, глаголом и другими частями речи, а иногда целым словосочетанием, в состав которого подчас входят разные части речи. Например, если сравнить предложения «Учение полезно» и «Учиться всегда пригодится», то можно заметить, что в первом случае подлежащее выражено существительным, а во втором — неопределенной формой глагола.

Но особенно сложны и многообразны способы выражения сказуемого и соответственно типы сказуемого. Это может быть простое глагольное сказуемое: Егорушка смотрел; пела женщина; песня слышалась; Егорушка оглядывался и не понимал... и т. п. Но в нашем примере есть и более сложные виды сказуемого: ему стало казаться — составное глагольное сказуемое (форма прошедшего времени глагола *стать* и неопределенная форма безличного

глагола *казаться*). В сложном предложении этот безличный глагол употреблен в функции личного, потому что придаточное предложение выступает здесь в роли заместителя подлежащего (стало казаться, что это пела трава). Сравним: «И каждый год, как желтый лист кружится, все кажется, и помнится, и мнится, что осень прошлых лет была не так грустна» (Блок). В другом случае такое же по структуре сказуемое имеет значение безличного: «Она уверяла, что ей страстно *хочется жить*».

Пример составного именового сказуемого: «Она еще *молода и была бы красивой*» — здесь два однородных сказуемых. Первое выражено краткой формой прилагательного, а второе — формой сослагательного наклонения глагола *быть* и полной формой прилагательного женского рода, стоящего в творительном падеже.

В этой статье мы не предполагали останавливаться на всех вопросах, с которыми может столкнуться экзаменуемый во время синтаксического разбора. Однако мы хотели обратить внимание на те стороны ответа, которые всегда вызывают особые затруднения.

В заключение предлагаю разобрать несколько предложений.

З а д а н и е: Поставьте недостающие знаки препинания и разберите предложения.

1. Охотники съезжались с своими добычами и рассказами и все подходили смотреть матерого волка который свесив свою лобастую голову с закушенной палкой во рту большими стеклянными глазами смотрел на всю эту толпу собак и людей окружавших его. Когда его трогали он вздрагивая завязанными ногами дико и вместе с тем просто смотрел на всех (Л. Толстой).

2. Она сделала то самое и так точно так вполне точно это сделала что Анисья Федоровна которая тотчас подала ей необходимый для ее дела платок сквозь смех прослезилась глядя на эту тоненькую грациозную такую чужую ей в шелку и в бархате воспитанную графиню которая умела понять все то что было и в Анисье и в отце Анисьи и в тетке и в матери и во всяком русском человеке (Л. Толстой).

3. С Чеховым в литературе и на театре народилось новое понятие подтекста как новая спрятанная координата как орудие дополнительного углубления и самого емкого измерения героя. Громаден подтекст чеховской жизни. ...Он больше усилий прилагает не для того чтоб родить слово а чтоб убрать смуть его совсем если оно лишнее остается лишь вырезанное навечно на бронзовой доске (Л. Леонов. Речь о Чехове).

4. Садясь за стол я взглянул в лицо девушки подававшей мне стакан и вдруг почувствовал точно ветер пробежал по моей душе и сдунул с нее все впечатления дня с их скукой и пылью... Передо мною стояла красавица и я понял это с первого взгляда как понимаю молнию (А. Чехов).

А. Б. АНИКИНА,
доцент факультета журналистики МГУ
имени М. В. Ломоносова

**СЛОВЕСНОЕ
КРУЖЕВО**

Много сказано хороших слов о том, сколь велики и необъятны возможности русского языка. Палиндромы-перевертыши — это тоже одно из редких и замечательных свойств нашей речи, в том числе поэтической. Целую книгу стихов, читающихся равно как слева направо, так и справа налево, симметричных, как кружево, написал тамбовский поэт и художник Николай Иванович Ладыгин.

Уверен, что читателям журнала «Русская речь» небезынтересно будет познакомиться с некоторыми из этих своеобразных стихов, в которых каждая строка, как эхо в лесу, как отражение в реке, в перевернутом виде повторяет самое себя...

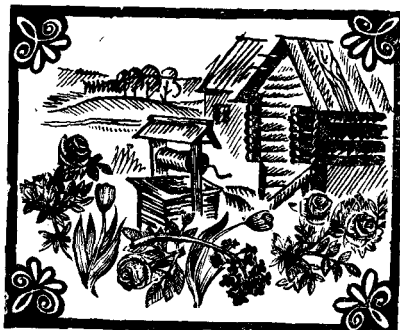
ИГОРЬ КОБЗЕВ

ВЕСНА

У города на дороге
Ураган нагару
Летел,
А голого лога
Лен еле зеленел.

А лес у села,
Как
Золото лоз ...
Дарю, рад,
Зорям имя роз.

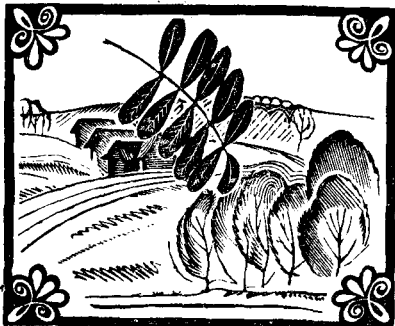
Летев с ветел,
В озере зов
Учил кличу
И
Воле перепелов.
В озере зов,
И горели в иле роги
Коряг. Ярок.
Нов зари мира звон.
Я нем и меня
Носил ли сон,
Манил ли нам



Май, миф и фимиам? —
Тут
Не вид дивен,
Не день
Тот от
Леса насел,
А летела,
Алела
Весна. Дан сев.

ЛЕТО

На реке рань.
До воды, до вод
Осоки косо
Сели, и лес
Висел, Лес ив.
И кричали у ила чирки,
Тут
Коростели и лет сорок,
Тополя лопот,
И ели милей
Дива на вид.
Еще
Не день,
Хорошело поле. Шорох
И лад вдали,
И мани, трактор-крот, картинами
Силача. Качались
Низины низин
И горы — роги.
Еще
Гул. Еще луг
Ревел. Клевер



Косили. Сок
Летел.
Али лавину нива лила
Урожая? Аж ору:
Ура! Чару!
Дар гони, виноград!

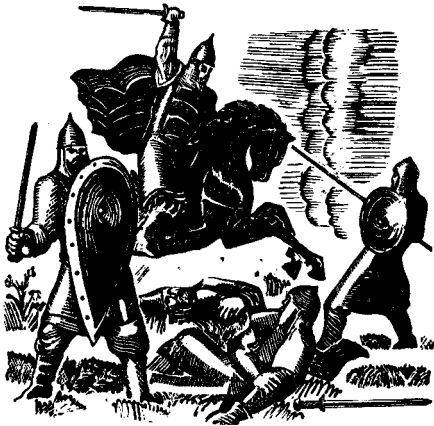
ОСЕНЬ

На поле мело. Пан —
Мороз взором
Нес осень.
И лоб одомело до боли
Ее
Гудение, и недуг
Зло полз.
Но слетел сон
И ладили, жили дали,
Или на мир озими зори манили?
Не сев ли жил весен?

ЗИМА

Не совы в осень
Туром орут —
Нов зимы дым и звон.
Там холм лохмат
В инее нив,
Тут
Мороз узором
Окно тонко
Лепил и пел
У сел в лесу.
И он севером, как море весной
Бушевал ... В лаве шуб
Ужо хожу
И я лугами. Зима, гуляй!





ДРЕВНИЕ О МУЖЕСТВЕ

«Онъ бо не стѣнами
огради градъ, но мужествомъ
жикущихъ въ немъ

Пчела по списку конца
XIV века

Когда-то словом *мужество* называли период зрелости человека. В одном древнерусском памятнике есть сравнение возраста человека со сменой времен года:

Каждо възрастъ уподовиша четверемъ лѣтнимъ измѣнамъ: весну къ дѣтству, и къ жатвѣ юности, а ко осени мужеству, а къ зимѣ старостству (Пчела по списку XII—XIII веков).

По-видимому, древние считали, что человек в пору *мужества* 'зрелости' должен был обладать *мужеством*, иначе трудно объяснить соединение этих понятий в одном слове.

Легко догадаться, что слово *мужество* происходит от слова *мужь*, которое в древнерусском языке имело отличное от современного языка значение: просто 'мужчина', а не 'женатый мужчина по отношению к жене'.

Древнерусские «мужи» проявляли мужество чаще всего на войне. По свидетельству многих источников, Древняя Русь была «въѣдома и слышима всѣми конци земля», потому что князья ее и воины славились храбростью и мужеством. Даже договоры о мире русские скрепляли клятвой на своем оружии: «по русскому закону кляшася оружьемъ своимъ» (из летописи под 907 г.).

Вот текст клятвы русских из договора князя Игоря с греками в 945 году:

И кто «помыслитъ отъ страны Русскитя разрушити такую любовь... да не имутъ помощи отъ Бога, ни отъ Перуна, да не ущитатся щиты своими, и да посечени будутъ мечи своими, отъ стрѣлъ и отъ иного оружата своего.

И если кто из русских помыслит нарушить эту любовь... да не будет им помощи ни от Бога, ни от Перуна, да не защитят их их щиты и будут они побиты своими мечами, стрелами и иным оружием своим.

Мужеству учили с детства. Княгиня Ольга, мать Святослава, взяла его в сражение, когда он был еще мальчиком. К этому вре-

мени он хорошо ездил верхом, но рука его была слишком слаба, чтоб держать копьё.

... Буну копьемъ Святославъ на древланы, и копье летѣ сквозѣ уши конеки и удари к ноги конеки, вѣ бо дѣтскъ. И рече Свѣнелдъ и Асмольдъ: князь уже почалъ, потагнѣте, дружино, по князѣ. И повѣдиша древланы.

... Метнул Святослав копьём в древлян, и копьё пролетело между ушей коня и упало к ногам коня, ибо был он ребенком. И сказали [воеводы] Свенельд и Асмольд: князь уже начал, поддержим, дружина, князя! И победили древлян.

В Поучении детям своим князь Владимир Мономах пишет:

Смѣрти бо еа дѣти не боати ни от раги, ни от зѣри, но мужьское дѣло тѣкорите (Из летописи под 1096 годом).

Мужеству учили и книги. Вот несколько отрывков, говорящих об этом:

Не тщеславьемъ, ни красотою ризаню, ни конаню, ни тварями чтиши, но мужьствомъ и мудростю (Пчела по списку конца XIV века).

Не тщеславьем, не красотою одежд и коней, не убранством добивайся почитания, а мужеством и мудростью.

Ище мужька убавенъ еста на раги то кое чюдо еста. инии же и дома умирають без славы. си же со славою умроша (Ипатьевская летопись под 1254 годом).

Если мужчина убит в сражении, то стоит ли удивляться: иные и дома умирают без славы, эти же со славою умерли.

Еа поносимъ нѣ от ко(го), занѣ хромъ сы възвелъ къ полкъ, онъ же рече. не вѣганци^а потреба нынѣ, но стоащи^а, не ногами бо копати нынѣ время, но руками бити крѣпко (Пчела по списку конца XIV века).

Упрекнули его, что, будучи хромым, вступил он в войско. И ответил он: «Не в бегающих теперь нужда, а в стоящих, не ногами перебирать теперь время, а руками бить крепко».

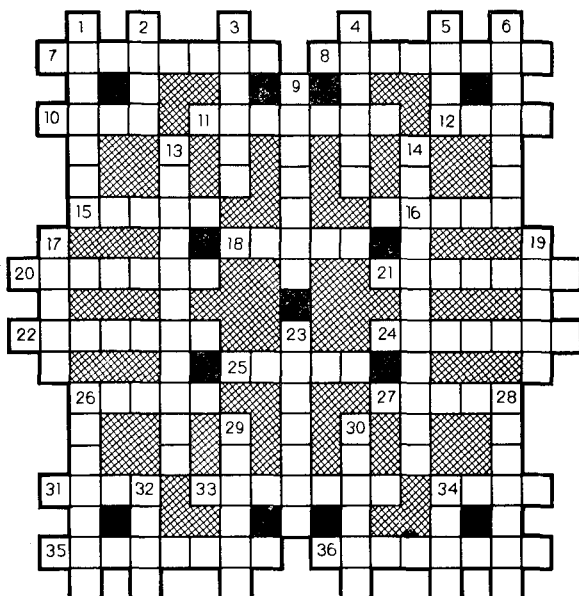
Тру^а ражаега мужьство (Там же).

Трудности рождает мужество.

Лаконъ, немощенъ сы тѣломъ, на рага иде. онѣмъ же въпрашающимъ и. камо, так сы, идеши, онъ же ре^а. за очѣстко хощу умрети (Там же).

Лакон, слабый здоровьем, пошел на войну. Когда его спросили: «Куда ты, такой, идешь?», он ответил: «Хочу умереть за отечество».

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КРОССВОРД



По горизонтали: 7. Конечные слоги стихотворной строки — последний ударный и следующие за ним. 8. Драматический жанр. 10. Составная часть артикуляции (произнесения) звука. 11. Удачное и тонкое, смешное или язвительное выражение. 12. Единица измерения ритмико-интонационного строения речи. 15. Характерная окраска отдельного звука или человеческого голоса, сообщаемая обертонами (призвуками). 16. Большое стихотворное произведение. 18. Грамматическая категория глагола, выражающая отношения между субъектом и объектом действия. 20. Небольшое повествовательное произведение. 21. Специалист, изучающий недостатки (пороки) речи и занимающийся их лечением. 22. Близость в строе языков, свидетельствующая о происхождении их из одного источника. 24. Перечень, список слов. 25. Избитое, стереотипное выражение. 26. Географическое название, символ традиционной дружбы двух славянских народов. 27. Герой русских духовных стихов и народных сказок. 31. Французский писатель. 33. Служебная часть речи. 34. Отрезок звучащей речи, произносимый одним толчком выдыхаемого воздуха. 35. Человек, владеющий несколькими или многими языками. 36. Контекст речи, обстоятельства, условия общения.

По вертикали: 1. Совокупность графических навыков, используемых для передачи данного языка на письме. 2. Украинская историческая песня; жанр гражданской, политической поэзии в России XIX века. 3. Обь-

яснение, перевод малопонятного слова или места в тексте (обычно у древних или средневековых писателей). 4. Иносказательное повествование с нравоучительным выводом. 5. Стандартное задание, применяемое в психологии с целью определения умственного развития, специальных способностей, склонностей человека. 6. Выпадение звука или группы звуков в середине слова. 9. Положение, выражающее определенную языковую закономерность; рекомендация того или иного языкового употребления. 13. Русский филолог (1856—1929). 14. Выделение слова или части предложения, сообщение им некоторой синтаксической самостоятельности. 17. Звук, образуемый колебанием напряженных голосовых связок под давлением выдыхаемого воздуха. 19. В логике — исходное положение, требующее доказательства. 23. Стихотворное произведение с рассказом легендарного или исторического содержания. 26. Русский советский писатель. 28. Слово с противоположным (по отношению к другому слову) значением. 29. Разновидность языка, характерная для более или менее обособленной социальной группы. 30. Стилистический прием, состоящий в употреблении слова или выражения в противоположном значении с целью насмешки. 32. Крупнейший славянский филолог (1838—1923). 34. Манера повествования от лица рассказчика в литературном произведении.

Составила Н. Г. БЛАНДОВА

(Отв еты в следую щем номере)

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

(Отв еты. См. № 3, 1970)

По горизонтали: 7. Гипербола. 9. Мотив. 10. Сигма. 12. Огласовка. 15. Язык. 16. Эссе. 17. Грот. 18. Жест. 19. Односоставное. 22. Грассирование. 25. Стопа. 26. Гекзаметр. 27. Дефис. 32. Антропонимика. 34. Представление. 36. Стих. 37. Боян. 38. Союз. 39. Метр. 42. Информант. 43. Точка. 44. Норма. 45. Синхрония.

По вертикали: 1. Даль. 2. Сага. 3. Письмо. 4. Зияние. 5. Диалог. 6. Оканье. 8. Разбор. 9. Москва. 11. Аорист. 13. Состав. 14. Иносказание. 20. Слово. 21. Очерк. 23. Ритор. 24. Рифма. 28. Оратор. 29. Умляют. 30. Идиома. 31. Нестор. 32. Акцент. 33. Азбука. 34. Период. 35. Есенин. 40. Анты. 41. Ритм.



СЛОВАРЬ ЭПИТЕТОВ

МОРОЗ

О силе холода, степени стужи; характере физического воздействия на человека: беспощадный, жгучий, жесткий, жестокий, злощий, колкий, колючий, крепкий, крутой, легкий, леденящий, лютый, небывалый, невыносимый, нестерпимый, сердитый, сильный, скрипучий, суровый, сухой, трескучий, умеренный, цепенящий, ядреный. «Налеги — это незамерзающие и при жестоком морозе ключи» (Гончаров. Фрегат Паллада); «Морозы были жестокие, злющие. Выйдешь, бывало, со старушкой и начинаешь мучиться» (Чехов. Мороз); «В ночь завернул крутой мороз» (Луговой. Из прошлого и настоящего); «Трещит по улицам сердитый, тридцатиградусный мороз» (Гоголь. Мертвые души); «Мужиков на войну — И по сердцу скрипучий мороз» (Дудин. Хозяйка); «Жгуч мороз трескучий, На дворе темно; Серебристый иней Запустил окно» (Никитин. Жена ямщика); «Вот вышел брат просвежиться. На дворе мороз ядреный» (Серафимович. Степные люди).

Редкие эпитеты: развеселившийся, розовоносый, седой. «Гуляет, щелкает орехи, Развеселившийся мороз» (Саянов. Колобовы); «Северяне вам наврали о свирепости февралей: про метели, про заносы, про мороз розовоносый» (Маяковский. Краснодар. Бывало).

В устойчивых сочетаниях: крещенский, сретенский (чаще во множ. числе — крещенские,

сретенские). «Храбрый брат мой! Стрелою лети за убийцей! Догони его в поле В крещенский мороз» (Жаров. Письмо).

НОС

О величине, размере: большой, длинный, здоровенный, короткий, крохотный, крошечный, крупный, маленький, массивный, огромный, солидный, тяжелый, увесистый. «На обширной площади сизого, как бы облупленного лица торчал здоровенный, шишковатый нос» (Тургенев. Степной король Лир); «Вижу [в зеркале] косматую голову, косматую бороду, усы, брови, волосы на щеках, волосы под глазами — целая роща, из которой на манер каланчи выглядывает мой солидный нос» (Чехов. Из записок вспыльчивого человека).

О форме, толщине, внешнем виде: античный, вздернутый, вислый, вогнутый, вострый, горбатый, (с) горбинкой, греческий, загнутый, задраный, закругленный, заостренный, картофельный, картошкой, классический, кловом, кривой, круглый, крючковатый, крючком, курносый, острый, плоский, правильный, приплюснутый, прямой, пуговицей, пуговичный, пуговка, пуговкой, римский, сплюснутый, сплюсненный, толстый, тонкий, тупой, широкий, хищный. «Это была крошечная сухая старушонка ... с маленьким вострым носом и простоволосая» (Достоевский. Преступление и наказание); «Когда он сердился, ноздри большого, горбатого, красного носа широко раздувались» (М. Горький. Бывшие люди); «На этом лице вы увидите настоящий греческий нос с горбинкой» (Чехов. Драма на охоте); «Ну уж прости, с таким носом картошкой никак нельзя за поляка сойти» (Саянов. Небо и земля); «Это были зловещие старики с крючковатыми носами» (Катаев. За власть Советов); «Волосы у него на голове были желтоватые, на подбородке всегда торчала щетинка, нос острый, кривоватый» (Шолохов-Синяевский. Горький мед); «Лицо его [мальчишки], совсем еще детское, было необычайно серьезно, и это взрослое выражение как-то особенно

не вязалось с носом пуговкой» (Б. Полевой. Практикант); «Луна освещала ее сухие, потрескавшиеся губы, заостренный подбородок... и сморщенный нос, загнутый, словно клюв совы» (М. Горький. Старуха Изергиль); «Вся ее головка была очень мила; даже немного толстый и круглый нос ее не портил» (Тургенев. Свидание); «[Челкаш] медленно шагал по камням и, поводя своим горбатым хищным носом, кидал вокруг себя острые взгляды» (М. Горький. Челкаш).

В сравнении с птицами, животными: бульдожий, орлиный, птичий, свиный, утиный, ястребиный. «Телерь на стене вырисовался профиль его всклокоченной головы с орлиным носом» (Н. Островский. Рожденные бурей); «Возле него стояла высокая, тонкая англичанка с выпуклыми рачьими глазами и большим птичьим носом, похожим скорей на крючок, чем на нос» (Чехов. Дочь Альбиона); «То была круглая головка с черными, жесткими волосами ... с утиным, кверху вздернутым носом» (Тургенев. Новь); «Меня сразу поразили густые-прегустые брови Андрихевича и его ястребиный нос, опущенный крючком вниз» (Беляев. Старая крепость).

Во фразеологических выражениях: воробьиный, гулькин. С воробьиный нос, с гулькин нос — о чрезвычайно малом количестве, размере чего-либо.

О цвете, окраске: бледный, клюквенный, красный, лиловый, малиновый, синеватый, сизый, синий, фиолетовый, ярко-красный, ярко-малиновый. «Голова ее была в повязках; видны были только чрезвычайно бледный заостренный нос да веки закрытых глаз» (Чехов. Драма на охоте); «Старый и сгорбленный „благородный отец“ с кривым подбородком и малиновым носом встречается в буфете одного из частных театров со своим старинным приятелем-газетчиком» (Чехов. Критик); «Чука и Гека нельзя было загнать домой. С синеватыми носами они торчали на морозе» (Гайдар. Чук и Гек); «А вот к кому ходит дьяк! — сказала баба с фиолетовым носом, указывая на ткачиху» (Гоголь. Ночь перед рождеством).

О характере подкожной части, мякоти носа; о неровном покрове носа: буграстый, бугристый, костистый, мясистый, пористый, прыщавый, рыхлый, угреватый, хрящеватый, шишкастый, шишковатый. «Мичман с буграстым носом был невысок» (Новиков-Прибой. Цусима); «Сереза видел перед собой пористый нос директора, похожий на крупную клубничину» (Фадеев. Последний из Удэге); «[Атепин] читал „Биржевые ведомости“, без нужды ущемляя шишкастый нос в золотое пенсне» (Шолохов. Тихий Дон).

Редкие эпитеты: славянский. «Олегу нравился этот юноша, в котором смешались острые татарские глаза и тяжелый славянский нос» (Бородин. Дмитрий Донской);

ПОХОДКА

О манере ходить, внешнем характере поступи; размере шага: беспумная, валкая, вихляющая, военная, воздушная, вялая, гибкая, грузная, кавалерийская, качающаяся, красивая, ладная, легкая, легковесная, машинальная, мелкая, мужская, мягкая, напористая, неверная, неловкая, неровная, неслышная, нетвердая, неуверенная, неуклюжая, парящая, плавная, плывущая, подпрыгивающая, подрагивающая, порывистая, походная, пружинистая, прыгающая, разбитая, развалистая, развинченная, размашистая, расслабленная, ровная, скользящая, старческая, стелющаяся, строевая, танцующая, твердая, тяжелая, тяжеловесная, увалистая, упругая, царственная, четкая, шаркающая, шатающаяся, шаткая, широкая, щеголеватая, энергичная, юношеская. «Даже изменилась его походка — стала более грузной, машинальной, как у пешехода, привыкшего идти по трудной дороге» (Катаев. За власть Советов); «Он красивою, легкою походкой, как на пружинах, прошел, грудью вперед, через арену и стал в героической позе» (Скиталец. Несчастье); «[Авилов] шел легкой, плывущей походкой, высоко подняв голову и выпрямив грудь» (Куприн. Ночлег); «По его истомленному виду, по неверной походке,

по запыленной одежде его, можно было предполагать, что он успел обжевать пол-Москвы» (Тургенев. Муму); «Издали я мог прежде всего рассмотреть нетвердую разбитую походку» (Мамин-Сибиряк. Золотая ночь); «В эту минуту Алексей Александрович своею спокойною, неуклюжею походкой входил в гостиную» (Л. Толстой. Анна Каренина); «Еще раз понохав табаку, Фомич побрел своей расслабленной походкой в избушку» (Мамин-Сибиряк. Лес).

О скорости, темпе походки: быстрая, медленная, медлительная, мерная, неторопливая, спорая, тихая, ходкая, шагистая. «В устройстве своих воротничков, в прическе и в степенной медлительной походке он хотел представить из себя старого человека» (Л. Толстой. Война и мир); «Все они были, прежде всего, трудолюбивые землепашцы, принадлежали к тому великорусскому типу, который отличается крупными чертами лица ... шагистою и несколько развалистою походкой» (Златовратский. Крестьяне-присяжные).

При передаче психологического впечатления, внутреннего состояния; душевных свойств: беззаботная, беспечная, бодрая, бойкая, важная, величавая, виноватая, вкрадчивая, гордая, горделивая, игривая, ленивая, лукавая, молодецкая, нервная, покойная, осторожная, решительная, робкая, свободная, спокойная, степенная, уверенная, усталая, хозяйская, чинная. «Сын кузнеца шел по тротуару беспечной походкой гулящего человека» (М. Горький. Трое); «Купец дородный с важной походкой...» (Никитин. Тарас); «Пусть она и не выглядит кроткой, И, пожалуй, на вид холодна, Но она величавой походкой Всколыхнула мне душу до дна» (Есенин. Не гляди на меня с упреком...); «Мужчина поднялся и виноватой походкой... засеменил к девочке» (Чехов. На пути); «В их [арабев] серьезных лицах, в медленной гордой походке чувствуется настоящая царственная важность» (Куприн. Лазурные берега); «Но постыпь у него тихая и походка осторожная, вкрадчивая» (Чехов. Палата № 6); «Воспользовавшись пер-

вым предлогом, она встала и своею легкою, решительною походкой пошла за альбомом» (Л. Толстой. Анна Каренина); «Бывало, шла походкой чинною На шум и свист за ближним лесом» (Блок. На железной дороге).

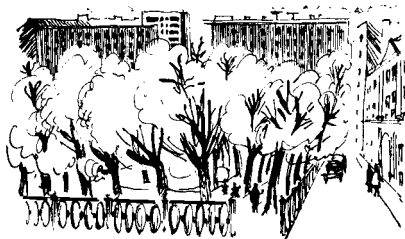
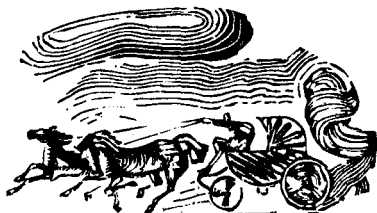
В сравнении с животными, птицами: журавлиная, кошачья, лебединая, лебяжья, медвежья, птичья, утинная. «[Олейник] тоже вылез из блиндажа и, увидев Андрея, подошел к нему бесшумной, кошачьей походкой» (Ебубеннов. Белая береза); «Поженски толстый в бедрах, он вошел утиной походкой с развальцем» (Сергеев-Ценский. Дифтерит).

Редкие эпитеты: подхалимская, цепкая. «Бауман скривил губы. Поганю стало на сердце от этих засматривающих с собачьей готовностью глаз, вихляющей подхалимской походки» (Мстиславский. Грач — птица весенняя); «Позади, с горящими глазами, цепкой походкой хищника следовал Ахмет» (Первенцев. Кочубей).

(Продолжение в следующем номере)



ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»



Патриаршие пруды

«Как образуется женский род и множественное число от слова *патриарший*? — спрашивает нас Л. Г. Никитина из Москвы. — Патриаршья, Патриаршьи (пруды) — по типу *охотничий*, *-чья*, *-чьи*? А пишут обычно *Патриаршие*. Слово почти неупотребительное, но все же встречается, особенно в художественной и мемуарной литературе».

Притяжательные прилагательные, имеющие в форме мужского рода именительного падежа единственного числа суффикс *-ий*, во всех остальных формах содержат суффикс *-j-* (йот): *лисий*, *лисья*, *лисье*, *лисьи*; *охотничий*, *охотничья*, *охотничье*, *охотничьи* и т. п. Например, в форме *лисья*, которая произносится [л'ис'ja], — корень

[л'ис'j-] (с мягкими согласными *л* и *с*), суффикс [-j-] и окончание [-aj]).

Однако есть четыре слова с притяжательным значением, по форме мужского рода напоминающие, например, слова *лисий* или *охотничий*, но не имеющие суффикса *-j-* в остальных падежных формах. Это прилагательные: *отчий*, *орлий*, *монарший* и *патриарший*. Слово *отчий* имеет такие формы: *отчий*, *отчая*, *отчее*, *отчие*. Поэтому следует говорить и писать: Патриаршие пруды, а не Патриаршьи. Аналогия со словом *охотничий* здесь не подходит.

Указанные четыре слова не содержат суффикса. Элементы *-ий*, *-ая*, *-ее*, *-ие* в различных формах этих слов — окончания.

Причина того, что в названных словах нет суффикса *-j-*, состоит в том, что основы этих слов оканчиваются на сочетание согласных: *тч*, *рл*, *ри*, а добавление к ним еще третьего согласного *j* создало бы сочетание, трудные для произношения. Русский язык избегает таких стечений согласных. Не случайно притяжательные прилагательные с суффиксом *-j-* обычно образуются от основ, оканчивающихся на сочетание «гласный + согласный»: *черепашья*, *крокодилья*,

фазанья, человечья, заячья и т. п. Образования вроде *волчьья* (с сохранением суффикса -j- после сочетания согласных) очень редки.
В. Л.



Челдон

«Уважаемая редакция, прошу разъяснить мне, когда, где и откуда появилось слово *челдон*», — спрашивает И. М. Кузнецов из Красноярска.

Сибирское слово *челдон* (челдон, чолдон) в настоящее время значит 'коренной житель Сибири'. Литературному языку это слово стало известно из произведений многих русских писателей. Оно встречается у Мамина-Сибиряка, Пришвина, Сергеева-Ценского, Есенина, Маяковского, Либединского, Авраменко, Прокофьева, Васильева и других.

Благодаря широкому употреблению в литературе слово вошло в современные толковые словари русского литературного языка, хотя относится к диалектизмам.

Литературным источникам XVIII века *челдон* еще не известен. Зато в записях живой речи Сибиряков, относящихся к прошлому веку,

встречается часто, но в различных смыслах: то как обозначение русского, «не пришлого», коренного жителя Сибири; то как название коренного сибиряка-крестьянина; то как оскорбительное, «ругательное» слово.

Вот некоторые из этих определений: «Челдон — презрительное название крестьян-старожилов. Обозначает человека грубого, неуступчивого и неуклюжего» (Г. Л. Маляревский. Особенности говора крестьян-старожилов Тобольской губернии); «Челдон — уничижительное слово, которым „поселенцы“ (из числа уголовных преступников) бранят русское старожилое население Сибири»; «Челдон — в Сибири прозвище вообще всех ссыльно-каторжных» (А. А. Черкасов. Записки охотника Восточной Сибири).

Короче, слово *челдон* имело разное значение, в зависимости от положения и взглядов говорящего. Так, Мамин-Сибиряк отметил, что «в коренной Сибири бродяг недолюбливают, называют обидным именем „варнаков“ и эксплуатируют всякими способами; в свою очередь бродяги ненавидят желторотых сибиряков и называют их „челдонами“» (Мамин-Сибиряк. Летные).

А вот еще запись (одного из до-революционных собирателей местных слов): «Челдон — местные жители так называют российских поселенцев, а последние — местных жителей».

К началу XX века собиратели сибирских слов начинают наблюдать в некоторых случаях освобождение *челдона* от налета эмоций и переход его на нейтральные позиции. В «Материалах к областному словарю сибирского наречия» (1904) В. Анучин сообщает: «Челдон —

обидное прозвище, которым выходцы из России называют сибиряков, в частности крестьян... Впрочем, в последнее время оно утратило свой обидный смысл и нередко крестьяне и сами себя называют челдонами, подчеркивая тем свое деревенское (а не городское) происхождение».

В советскую эпоху слово *челдон* потеряло презрительный смысл, часто возникавший в дореволюционное время под влиянием классовых отношений. Такое нейтральное употребление отражено и в современной литературе:

Комиссар сказал: «Челдон,
Принимаю смерть...
Обо мне Москва и Дон
Будут песни петь».

По луг, по черн...
А. Прокофьев.

Теребя траву руками,
Всадник веки опустил
И, тяжелую, как камень,
Чуя смерть, заговорил:
— Ты челдон, и я челдон,
Оба мы челдоны...
Положи свою ладонь
На мои ладони.

Голубь моего детства
С. Васильев.

Относительно, того, как произошло слово *челдон*, к сожалению, ничего определенного сказать нельзя. В «Этимологическом словаре» М. Фасмера по этому поводу сказано коротко: «неясно». Раскрытие этимологии этого слова чрезвычайно осложнено давними постоянными сношениями русских с народами Сибири, пестротой заимствований в русские сибирские говоры из разных языков. Ясно лишь, что *челдон* по происхождению — нерусское слово. Нам остается пока лишь гадать, восходит оно к монгольскому *čoligan*, *čolgin*, калмыцкому *zol'ju'n*, *zol'gn*, как предполагает Фасмер, или к тюркскому *zül-*

gürа 'говорить непонятно, болтать'; 'говорить на чужом, непонятном языке'. При сопоставлении с калмыцким *челдаться* (чейдаться) 'водиться с кем' намечаются какие-то ассоциации, но все это лишь одни догадки, а не решения. Словом, происхождение слова *челдон* ждет своего исследователя.

Любительскую этимологию — *челдон* 'человек с Дона' — при научном объяснении происхождения этого слова принимать во внимание нельзя.

Н. В. Попова

Нарочито? нарочно? специально?

Читательница Н. Хоройкина из Иркутска пишет: «В 4-м номере журнала „Русская речь“ я встретила слово *нарочито*: „Используемые для шуточных псевдонимов фамилии реальных лиц иногда нарочито искажались...“. Очевидно, оно заменяет слова *нарочно* или *специально*? Объясните, пожалуйста, каков смысл этого слова? Есть ли разница между словами *нарочито* и *нарочно*? И в каких случаях употребляются оба эти слова».

Слово *нарочито* имеет значение 'умышленно, преднамеренно, подчеркнуто, напоказ': «Василь был хитрый парень, знал, что командир слышит его, и поэтому жаловался нарочито громко» (Первенцев. Честь смолоду); «Как там на передовой, Лешка? Спокойно? — Все спокойно, товарищ старший лейтенант, — нарочито бодро, чтобы не подумали, что он заснул, — отвечает Лешка» (В. Некрасов. В окопах Сталинграда).

Одно из значений слова *нарочно* — ‘с целью, с определенным намерением’: «Проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать... а в самом деле, только чтоб на нее поглядеть» (Пушкин. Станционный смотритель). А слово *специально* значит ‘намеренно, с целью’: «Иногда он [мальчик] как бы нечаянно даже задевал помощника капитана локтем. Специально, чтобы обратить на себя внимание» (В. Катаев. Белеет парус одинокий).

В тексте из статьи «Под вымышленными именами» журнала «Русская речь» (1969, № 4) следует употребить не *нарочно* или *специально*, а *нарочито*, так как это слово более точно раскрывает смысл глагола *искажаться* в данном контексте:

«Используемые для шуточных псевдонимов фамилии реальных лиц иногда нарочито искажались: „Емеля Зола“ — подпись В. А. Гиляровского, или давались в отрицательной форме: „Не Крылов“, „Только не Шиллер“, „Марк Нетвен“, „Н. Е. Гоголь“ (то есть не Гоголь), либо иностранцу давалась русская „прописка“: „Гейне из Харькова“, „Беранже из Зарядья“».

Не Твен, Не Крылов, Овидий с Томи... Так писали, так искажали известные фамилии с целью специально подчеркнуть обратный смысл, делали это напоказ, чтобы произвести соответствующий эффект. Отенок значения ‘подчеркнуто, напоказ’ присутствует только в слове *нарочито*, а не в словах *нарочно* и *специально*, хотя они и имеют отдельные значения, близкие слову *нарочито*.

Не следует в данном тексте употреблять слово *нарочно* вместо слова *нарочито* и потому, что есть у *нарочно* еще такие значения: ‘воп-

реки кому, чему-либо’ — «„Делать нарочно“, то есть действовать наперекор общему мнению и здравому смыслу — вещь далеко не новая» (Салтыков-Щедрин. Круглый год); или еще: ‘в шутку, не всерьез’ — «Подошла бабушка и чуть слышно шепнула: — Ты меня прости, ведь я не больно потрепала тебя, я ведь нарочно» (М. Горький. В людях).

Применение слова *нарочно* с такими значениями в указанном автором письма тексте из «Русской речи» могло бы исказить этот текст, сделать его менее доступным для понимания.

К. А. Логинова



Голод не тетка

«Объясните, пожалуйста, происхождение выражения *голод не тетка*, — просит редакцию В. А. Пычкин из города Мыски Кемеровской области.

Выражение это мы употребляем тогда, когда не приходится быть привередливым в еде из-за сильно-

го желания есть, а также и в тех случаях, когда человек поступает против своей воли, не так, как хотелось бы, из-за голода или сложившихся условий жизни.

Вот несколько примеров из художественных произведений, отражающих употребление этого выражения применительно к определенной ситуации: «Да ведь захочет же она [Мавруша] жрать?— удивлялась матушка.— Не знаю. Говорит: „Ежели насильно меня в застольную сведут, так я все-таки там есть не буду!“ — Врет, лиходейка! Голод не тетка... Будет жрать! Ведите в застольную» (Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина); «По правде говоря, казаки голодали. Почему голодали? Да потому, что из Енисейска доставка продуктов и жалованья длилась очень долго. Голод не тетка... Народ взбунтовался и утопил в Каче... своего атамана, кравшего продукты» (Гарин. Командующий фронтом); «[Любим Карныч: Да ведь голод-то не тетка, что-нибудь надобно делать! Стал по городу скоморохом ходить, по копейке собирать, шута из себя разыгрывать, прибаутки рассказывать, артикулы разные выкладывать.. Что наберешь, тем и дышишь день-то» (Островский. Бедность не порок).

В этом привычном для нас выражении значение слова *голод* понятно, именно голод является вынуждающим к чему-нибудь. Но при чем здесь тетка?

Все станет ясно, если мы обратимся к старинным сборникам пословиц и поговорок. Например, в сборнике П. Симони (издание 1899 года) эта поговорка представляет собою часть развернутого выражения, записанного еще в XVII веке и ясного по своему содержанию: «Голодь не тютка, пирожка

не подсунеть», то есть тетка (теща, кума, как встречается в более поздних записях) в трудных обстоятельствах поможет, вкусно накормит, не даст погибнуть. А голод остается голодом, он может толкнуть на многие и нежелательные поступки.

Таких «усеченных» выражений в нашем языке достаточно много. И всегда утрата части выражения (пословицы или поговорки) связана с потерей какой-то доли смысла, что делает совсем непонятными мотивы, по которым словосочетание приобрело то или иное значение. Например, сейчас кажется совершенно необъяснимым, какие концы и зачем их нужно предавать земле в устойчивом сочетании *хоронить концы*: «Ермошка и Ястребов были заведомые скупщики краденого с Балчуговских промыслов золота. Все это знали... но никто и ничего не мог доказать: очень уж ловкие были люди, умевшие хоронить концы» (Мамин-Сибиряк. Золото).

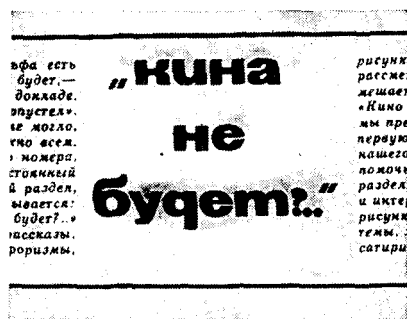
Значение этого выражения русскому человеку понятно — ловко уничтожать следы какого-нибудь проступка, преступления, а вот происхождение неясно. В сборнике пословиц XVII века (уже упоминаемом нами) находим фразу, от которой «оторвалась» часть, ставшая теперь фразеологизмом: «Лапти сплел, да и концы схоронил», то есть, закончив плетение лаптей, аккуратно спрятал (а в XVII веке, да и теперь кое-где говорят *схоронил* в значении «спрятал») концы лык так, чтобы они не были видны и не мешали при носке.

Море по колено «все нипочем, никто не пугает» ведет свое происхождение от такой фразы: «Пьяному море по колено, а лужа по уши (а проспится — свињи боится)».

Молоко на губах не обсохло — здесь пропущено главное слово, говорящее о неопытности и молодости, — *материно*: «Молод еще — материно молоко на губах не обсохло» (Мельников-Печерский. Бабушкины рассказы). Но теперь, когда хотят подчеркнуть молодость и неопытность кого-либо, говорят просто: «Молоко на губах не обсохло», хотя обыкновенное (не материнское) молоко, не высохшее на губах, не может свидетельствовать именно о молодости.

Таким образом, непонятные, казалось бы, выражения современного русского языка — *голод не тетка*, *концы хоронить* и др. — становятся ясными, если обратиться к их истории, отраженной в старой письменности или сохранившейся в устной передаче.

В. П. Фелицына



Посылаю вам вырезку из журнала «Советский экран» (1970, № 1). Авторам этой новой постоянной рубрики, вероятно, кажется, что форма *кина* придает фразе шуточный оттенок. Но все же, имеем ли мы право, хотя бы и ради шутки, нарушать правила русской грамматики? Всем грамотным людям известно, что слово *кино* относится

в русском языке к категории несклоняемых существительных.

Представьте себе, что неискушенный читатель или школьник, мельком прочитав эту фразу и не понимая, как она возникла и какова ее цель, начнет так произносить и писать. А ведь и без того у нас в речи много неправильностей. По-моему, редакция «Советского экрана» могла бы придумать более оригинальное название для новой рубрики и в то же время не препятствовать трудной работе по борьбе за чистоту русского языка.

Учитель В. И. Нордгеймер

Село Первомайское Каушанского района Молдавской ССР

Ба! Знакомые все лица

История мировой литературы дает нам немало примеров крылатых слов, то есть выражений, возникших под пером писателя, но вошедших в общий язык или даже во многие языки. Литературная цитата, ставшая крылатой, обыкновенно проста по форме, но выразительна, благодаря глубокому смыслу, в ней заключенному. Она украшает речь и обогащает язык. Войдя в обиход, она живет в языке рядом с пословицами и поговорками — этими сгустками народной мудрости.

Конечно, не всякому хорошему высказыванию суждено слава и долголетие шекспировского «Быть или не быть», не всякому прекрасному произведению выпала судьба грибоедовской комедии, огромное количество стихов которой, по оправдавшемуся предсказанию Пушкина, «вошло в пословицу». Иные

литературные цитаты довольствуются успехом временным. Многие глубокие и волнующие художественные произведения в виде пословиц так и не расходятся, хотя слова из них к месту и вовремя употребляются в речи образованных людей.

Так или иначе, но многократное повторение или употребление по случаю цитаты из художественного произведения всегда свидетельствует о стремлении сообщить о чем-то, что выходит за пределы смысла обыкновенных слов, не заключаемых в кавычки. Это, конечно, не обязательно сообщение как таковое, это может быть и просто намек, преследующий цель вызвать у читателя или слушателя определенные ассоциации.

Так, «Литературная газета» самим названием последней страницы «12 стульев» настраивает читателя на веселый лад. Правда, повторная ассоциация с известным романом, неизбежно возникающая у читателя при виде рубрики «Рога и копыта», уже способна только навести на мысль о том, что юмор здесь признают лишь одного сорта — Остапо-бандеровского.

По-видимому, стремлением ввести все без остатка строки И. Ильфа в поговорку и объясняется открытие в журнале «Советский экран» постоянной рубрики «Кина не будет?..». Ведь сама цитата из записной книжки писателя никакого дополнительного смысла, кроме сообщения о недостаточной грамотности автора реплики, не содержит.

«Бумага не краснеет» или «Бумага все терпит» — так передают по-русски одно из выражений Цицерона, ставшее крылатым. Но долго ли вытерпят новую рубрику читатели «Советского экрана», особенно те, у

которых есть дети-школьники? И не пора ли краснеть сотрудникам редакций за свой литературный багаж, состоящий из упомянутой записной книжки да мебельного гарнитура, хотя и великолепного, но всего на двенадцать персон.

В. Д.



Охабень

Читатель В. Сарайкин из Актюбинской области пишет нам: «С удовольствием читаю ваш журнал. И нередко пользуюсь им наряду с учебниками во время подготовки к контрольным работам и экзаменам по русскому языку (я студент-заочник Актюбинского пединститута).

Объясните мне, пожалуйста, значение и историю интересного слова *охабень*. Впервые прочитал я это название в 8-й статье В. Г. Белинского из его „Сочинений А. Пушкина“. Что означает это дивное словечко? Как оно возникло и какой в нем корень?».

В Словаре В. И. Даля с пометой «старое» приведено такое определение: «*охабень* — верхняя долгая одежда, с прорезами под рукавами и с четверугольным откидным воротом, кобеняком; *охабень* покроем схож с малороссийской *свигою*, с *видлабгой*». И далее к этому же слову даны указания на местное, диалектное его употребление: «Ныне:

вологодское, ярославское, костромское — верхняя крестьянская одежда, большей частью сермяжный зипун, ярославско-пошехонское — бабья широкая юбка из домотканы; псковское — сарафан с рукавами». В чрезвычайно интересном с точки зрения описаний народного быта сочинении П. Небольсина «Рассказы проезжего» (СПб., 1854) читаем: «Верхнюю одежду [крестьянок] составляет „шущун“... Если же это верхнее платье будет очень просторно и длинно, ниже колен, то его называют „охабень“».

Судя по многочисленным литературным примерам и показаниям толковых словарей, в XIX веке слово *охабень* входило в число ярких этнографизмов. В литературе оно использовалось в качестве приметы русского народного, деревенского, или старинного, допетровского быта. Прямое свидетельство тому находим в одном из высказываний В. Г. Белинского о творчестве Н. В. Кукольника: «В драмах г. Кукольника... сквозь русские охабни, кафтаны и сарафаны пробивается что-то нерусское». Кроме исторических драм Н. В. Кукольника, *охабень* как название царской одежды встречаем, например, в романе А. К. Толстого «Князь Серебряный».

История слова, в особенности слова-названия, тесно связана с историей вещи. Слово *охабень* не всегда было диалектизмом. А литературным историзмом оно стало только много позже известных событий конца XVII—начала XVIII века, затронувших буквально все стороны жизни нашей страны — не только политику и экономику, но и частную жизнь. Петровские реформы коснулись и внешнего вида русских. Действительно, в деревню, в крестьянский быт ушла старинная русская

одежда, когда в моду, в обиход высших слоев общества, большей частью насильственно, было введено европейское платье. В «Записках» Желябужского за 1709 год (СПб., 1840) еще можно прочесть: «Женился на Москве Иван Михайлов сын Кокошкин Псковитин на посадской жене. Свадьба была уборная: были в старом платье, в фереях, в охабнях». (*Ферезь*, или *ферязь* — тоже старинная одежда, без воротника и перехвата в поясе. Встречается в произведениях исторического жанра — у И. И. Лажечникова, Л. А. Мея, С. П. Злобина. Происходит от греческого *phoredia* 'одежда'.)

В допетровской Руси, в XV—XVII веках, слово *охабень* было распространено повсеместно. Охабни сукманные (из сукна), изуфь (шерстяные: изуфь, зуфь — по-арабски 'шерсть'), с нашивками из тафты, с золотыми или серебряными пуговицами, охабни самого разнообразного цвета — багрового и кумачного, зеленого и черного — находим среди самого дорогого платья, вместе с шубами кунными и несовыми, в росписях царского и боярского платья, в монастырских казенных книгах, в дарственных грамотах и других старинных документах.

В рукописях отмечены написания: охабень, охабенекь, охопень, охобень, охабен. А. Г. Преображенский, развивая это слово на части — о-хаб-ень, производит его от глаголов *завить* 'хватать', *охабить* 'охватить' (в этих значениях в русском языке не отмеченных) и восстанавливает первоначальное значение слова *охабень* — 'одежда, охватывающая со всех сторон' (Этимологический словарь русского языка. М., 1910—1914).

В древнерусском языке слово *оха-*

бень употреблялось также в значении 'часть города или крепости, обнесенная отдельной стеной, предместье'. Например в Новгородской I летописи есть такие записи: «Взяша [взяли] Марина города 2 охабна, а вышняго [верхнего] третьяго не взяша» (1410 г.); «у города у Выбора охабень вземь и пожгоша [сожгли]», (1411 г.). А. Г. Преображенский считает возможным объяснить происхождение этого названия в связи с общим значением корня — 'охватить, окружить', также и 'огородить'.

Если принять распространенное в этимологической литературе мнение о звукоподражательном, междометном происхождении корня этого слова, то понятны колебания его звуковой формы: хаб, хоб, хап, хоп. Ср. современно слово *охапка*, а также и название старинной польской национальной одежды — *осорпиа*. Большое количество глаголов с этим корнем сохранилось в русских говорах, примером может служить известный на севере глагол *оха́пнуть* 'обхватить; обнять'. То же и в старой письменности — в сочинениях Иоанна Златоуста, по списку XIV века: «Бѣлая жена охапившая десницею».

В. Я. Дерягин

До мозга костей

В русском языке довольно много устойчивых выражений (фразеологизмов, идиом), гиперболически обозначающих крайнюю степень, пре-

дел чего-либо или показывающих охват предмета (существа) целиком, полностью, например: возносить до небес; покраснеть до корней волос; пробраться до самых печенок; до конца ногтей (быть кем или каким-либо); до костей (мороз пробирает) и т. д.

В этом же ряду стоит и выражение *до мозга костей*, то есть еще глубже, чем до костей, до самой середины, до последней частицы всего существа: «Добровольцы давно промокли до нитки, продрогли до мозга костей». (Соболев. Разведчики уходят в поиск).

Во «Фразеологическом словаре русского языка» под редакцией А. И. Молоткова (М., 1967) выделяются два значения у фразеологизма *до мозга костей*, вытекающих из прямого смысла этого выражения — 'всем существом, целиком, полностью (быть кем-либо или каким-либо)': «[Индия:] Вы безнравственный до мозга костей» (А. Островский. Бешеные деньги); «— Максимов — эгоист до мозга костей» (Рыбаков. Водители). И второе значение — 'основательно, глубоко, по-настоящему': «— А как он тебя спрашивал? — Я бы сказал, очень спокойно. Но когда смотрит на тебя — такое чувство, что проверяет, хочет знать тебя до мозга костей» (Симонов. Солдатами не рождаются).

Выражение это, очевидно, не очень старое, так как в произведениях XVIII века (по данным академической картотеки) оно не встречается. Нет его и в словарях XVIII и XIX веков. Но, например, М. Е. Салтыков-Щедрин употребляет его в письме к П. В. Анненкову: «Я — литератор *до мозга костей*, литератор преданный и беззаветный».

В. П. Фелицина



Кавалькада

Читательница Е. А. Елисеева из Одессы пишет, что в газете «Известия» (1 октября 1968) ей встретилось сочетание *кавалькада машин*. «Правильно ли это?» — спрашивает она.

Нет, неправильно. Слово *кавалькада* восходит к латинскому *cavalus* 'конь' и в русском, немецком, французском языках имеет значение 'группа всадников'. Поэтому даже выражения *конная кавалькада*, *кавалькада всадников* следует рассматривать как тавтологические, а потому ошибочные.

Употребление слова *кавалькада* в других значениях, например:

'процессия', 'вереница движущихся предметов или людей', неверно, хотя в последнее время встречается довольно часто: «Вскоре наша небольшая кавалькада двинулась к Дому культуры... Мы [Сима, Маргарита, Сергей Сергеевич и др.] шли по центральной аллее» (Карпов. Не родился счастливым); «На горных дорогах то и дело мелькают пестрые кавалькады велогонщиков» («Труд», 10 апреля 1965); «Кавалькада машин мчится по узким улицам Берлина» (Кривицкий. Узелки на память); «Садовое кольцо. Слоновая кавалькада [слоны на лошадях?! — Н. С.] на несколько минут остановила поток автомашин» («Комсомольская правда», 15 августа 1969).

В русском языке существует много слов-синонимов, с помощью которых можно передать значение 'движущаяся группа предметов'. В зависимости от контекста иногда это слова: шествие, процессия, кортеж, вереница, ряд, группа, цепочка и т. д. И вряд ли следует слову *кавалькада* приписывать любое другое значение, ему не свойственное.

Н. В. Соловьев